

М.Н. Загоскин «Рославлев, или русские в 1812 году»

ОТ АВТОРА



Печатаю мой второй исторический роман, я считаю долгом принести чувствительнейшую благодарность моим соотечественникам за лестный прием, сделанный ими «Юрию Милославскому». Предполагая сочинить эти два романа, я имел в виду описать русских в две достопамятные исторические эпохи, сходные меж собою, но разделенные двумя столетиями; я желал доказать, что хотя наружные формы и физиономия русской нации совершенно изменились, но не изменились вместе с ними: наша непоколебимая верность к престолу, привязанность к вере предков и любовь к родимой стороне. Не знаю, достиг ли я этой цели, но, во всяком случае, полагаю необходимым просить моих читателей о нижеследующем:

1. Не досадовать на меня, что я в этом современном романе не упоминаю о всех достопамятных случаях, ознаменовавших незабвенный для русских 1812 год.
2. Не забывать, что исторический роман — не история, а выдумка, основанная на истинном происшествии.
3. Не требовать от меня отчета, почему я описываю именно то, а не то происшествие; или для чего, упоминая об одном историческом лице, я не говорю ни слова о другом. И наконец:
4. Предоставляя полное право читателям обвинять меня, если мои русские не походят на современных с нами русских 1812 года, я прошу, однако же, не гневаться на меня за то, что они не все добры, умны и любезны, или наоборот: не смеяться над моим патриотизмом, если между моих русских найдется много умных, любезных и даже истинно просвещенных людей.

Тем, которые в русском молчаливом офицере узнают историческое лицо тогдашнего времени — я признаюсь заранее в небольшом анахронизме: этот офицер действительно был, под именем флорентийского купца, в Данциге, но не в конце осады, а при начале оной.

Интрига моего романа основана на истинном происшествии — теперь оно забыто; но я помню еще время, когда оно было предметом общих разговоров и когда проклятия оскорбленных россиян гремели над главою несчастной, которую я назвал Полиною в моем романе.

Михаил Николаевич Загоскин

«Рославлев или русские в 1812 году»



Действие романа Михаила Николаевича Загоскина (1789 - 1852) «Рославлев» происходит во времена Отечественной войны 1812 г. В основе его лежит трагическая история отношений русского офицера Владимира Рославлева и его невесты Полины.

- Электронная версия романа выполнена по изданию: Загоскин М.Н. «Рославлев, или русские в 1812 году». М.: Художественная литература, 1980. Иллюстрации А. Николаева.
- * Публикация подготовлена в рамках интернет-проекта «1812 год» О.В. Поляковым 24 февраля 1998 года.
- Перевод в формат *pdf выполнен В. В. Цибановым в марте 2010 года.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



ГЛАВА I

«Природа в полном цвете; зеленеющие поля обещают богатую жатву. Все наслаждается жизнью. Не знаю, отчего сердце мое отказывается участвовать в общей радости творения. Оно не смеет развернуться, подобно листьям и цветам. Непонятное чувство, похожее на то, которое смущает нас пред сильною летнею грозю, сжимает его.

Предчувствие какого-то отдаленного несчастья меня пугает!.. Недаром, говорят простолюдины, недаром прошлого года так долго ходила в небесах невиданная звезда; недаром горели города, селы, леса и во многих местах земля выгорала. Не к добру это все! Быть великой войне!»

Так говорит красноречивый сочинитель «Писем русского офицера», приступая к описанию отечественной войны 1812 года. Привыкший считать себя видимой судьбою народов, представителем всех сил, всего могущества Европы, император французов должен был ненавидеть Россию. Казалось, она одна еще, не отделенная ни морем, ни безлюдными пустынями от земель, ему подвластных, не трепетала его имени. Сильный любовью подданных, твердый в вере своих державных предков, царь русской отвергал все честолюбивые предложения Наполеона; переговоры длились, и ничто, по-видимому, не нарушало еще общего спокойствия и тишины. Одни, не сомневаясь в могуществе России, смотрели на эту отдаленную грозу с равнодушием людей, уверенных, что буря промчится мимо. Другие — и, к сожалению, также русские, — трепеща пред сей воплощенной судьбою народов, желали мира, не думая о гибельных его последствиях. Кипящие мужеством юноши ожидали с нетерпением войны. Старики покачивали сомнительно головами и шепотом поговаривали о бессмертном Суворове. Но будущее скрывалось для всех под каким-то таинственным покровом. Народ не толпился еще вокруг храмов господних; еще не раздавались вопли несчастных вдов и сирот и, несмотря на турецкую войну, которая кипела в Молдавии, ничто не изменилось в шумной столице севера. Как всегда, богатые веселились, бедные работали, по Неве гремели народные русские песни, в театрах пели французские водевиля, парижские модистки продолжали обирать русских барынь; словом, все шло по-прежнему. На западе России собирались грозные тучи; но гром еще молчал.

В один прекрасный летний день, в конце мая 1812 года, часу в третьем пополудни, длинный бульвар Невского проспекта, начиная от Полицейского моста до самой

Фонтанки, был усыпан народом. Как яркой цветник, пестрелись толпы прекрасных женщин, одетых по последней парижской моде. Зашитые в галуны лакеи, неся за ними их зонтики и турецкие шали, посматривали спесиво на проходящих простолюдинов, которые, пробираясь бочком по краям бульвара, смиренно уступали им дорогу. В промежутках этих разноцветных групп мелькали от времени до времени беленькие щеголеватые платьица русских швей, образовавших свой вкус во французских магазинах, и тафтяные капотцы красавиц среднего состояния, которые, пообедав у себя дома на Петербургской стороне или в Измайловском полку, пришли погулять по Невскому бульвару и полюбоваться большим светом. Молодые и старые щеголи, в уродливых шляпах *a la cendrillon* (в стиле золушки (фр.)), с сучковатыми палками, обгоняли толпы гуляющих дам, заглядывали им в лицо, любезничали и отпускали поминутно ловкие фразы на французском языке; но лучшее украшение гуляний петербургских, блестящая гвардия царя русского была в походе, и только кой-где среди круглых шляп мелькали белые и черные султаны гвардейских офицеров; но лица их были пасмурны; они завидовали участи своих товарищей и тосковали о полках своих, которые, может быть, готовились уже драться и умереть за отечество. В одной из боковых аллей Невского бульвара сидел на лавочке молодой человек лет двадцати пяти; он чертил задумчиво своей палочкой по песку, не обращал никакого внимания на гуляющих и не подымал головы даже и тогда, когда проходили мимо его первостепенные красавицы петербургские, влеча за собою взоры и сердца ветреной молодежи и вынуждая невольные восклицания пожилых обожателей прекрасного пола. Но зато почти ни одна дама не проходила мимо без того, чтоб явно или украдкой не бросить любопытного взгляда на этого задумчивого молодого человека. Благородная наружность, черные как смоль волосы, длинные, опущенные книзу ресницы, унылый, задумчивый вид — все придавало какую-то неизъяснимую прелесть его смуглому, но прекрасному и выразительному лицу. Известный роман «Матильда, или Крестовые походы» сводил тогда с ума всех русских дам. Они бредили Малек-Аделем, искали его везде и, находя что-то сходное с своим идеалом в лице задумчивого незнакомца, глядели на него с приметным участием. По его узкому, туго застегнутому фраку, черному галстуку и небольшим усам нетрудно было догадаться, что он служил в кавалерии недавно скинул эполеты и не совсем еще отстал от некоторых военных привычек.

— Здравствуй, Рославлев! — сказал, подойдя к нему, видной молодой человек в однобортном гороховом сюртуке, с румяным лицом и голубыми, исполненными веселости глазами, — Что ты так задумался?

— А, это ты, Александр! — отвечал задумчивый незнакомец, протянув к нему ласково свою руку.

— Слава богу, что я встретил тебя на бульваре, — продолжал молодой человек. — Пойдем ходить вместе.

— Нет, Зарецкой, не хочу. Я прошел раза два, и мне так надоела эта пестрота, эта куча незнакомых лиц, эти беспрерывные французские фразы, эти...

— Ну, ну!.. захандрил! Полно, братец, пойдем!.. Вон, кажется, опять она... Точно так!.. видишь ли вот этот лиловый капотец?.. Ах, mon cher (мой дорогой (фр.)), как хороша!.. прелесть!.. Что за глаза!.. Какая-то приезжая из Москвы... А ножка, ножка!.. Да пойдем скорее.

— Повеса! когда ты остепенишься?.. Подумай, ведь тебе скоро тридцать.

— Так что ж, сударь?.. Не прикажете ли мне, потому что я несколькими годами вас старше, не смей любоваться ничем прекрасным?

— Да ты только что любишься; а тебе бы пора перестать любоваться всеми женщинами, а полюбить одну.

— И смотреть таким же сентябрем, как ты? Нет, душенька, спасибо!.. У меня вовсе нет охоты сидеть повесив нос, когда я чувствую, что могу еще быть веселым и счастливым...

— Но кто тебе сказал, что я несчастлив? — перервал с улыбкою Рославлев.

— Кто?.. да на что ты походишь с тех пор, как съездил в деревню, влюбился, помолвил и собрался жениться? И, братец! черт ли в этом счастья, которое сделало тебя из веселого малого каким-то сентиментальным меланхоликом.

— Так ты находишь, что я в самом деле переменился?

— Удивительно!.. Помнишь ли, как мы воспитывались с тобою в Московском университетском пансионе?..

— Как не помнить! Ты почти всегда был последним в классах.

— А ты первым в шалостях. Никогда не забуду, как однажды ты вздумал передразнить одного из наших учителей, вскарабкался на кафедру и начал: «Мы говорили до сего о вавилонском столпотворении, государи мои; теперь, с позволения сказать, обратимся к основанию Ассирийской империи».

— Ах, мой друг! — перервал Рославлев, — тогда нас все забавляло!

— Да меня и теперь забавляет, — продолжал Зарецкой. — Вольно ж тебе видеть все под каким-то черным крепом.

— Ты, верно, бы этого не сказал, Александр, если б увидел меня вместе с моею Полиною. А впрочем, нет, что толку! ты и тогда не понял бы моего счастья, — чувство, которое делает меня блаженнейшим человеком в мире, быть может, показалось бы тебе смешным.

Да, мой друг! не прогневайся! оно недоступно для людей с твоим характером. — Покорно благодарю!.. То есть: я не способен любить, я человек бездушной... Не правда ли?.. Но дело не о том. Ты тоскуешь о своей Полине. Кто ж тебе мешает лететь в ее страстные объятия?.. Уж выпускают ли тебя из Петербурга? Не задолжал литы, степенный человек?.. Меня этак однажды продержали недельки две лишних в Москве... Послушай! если тебе надобно тысячи две, три...

— Нет, мой друг! мне деньги не нужны.

— Так о чем же ты грустишь?

— Но разве ты полагаешь, что влюбленный человек не думает ни о чем другом, кроме любви своей? Нет, Зарецкой! Прежде, чем я влюбился, я был уже русским...

— Так что ж?

— Как, мой друг? А буря, которая собирается над нашим отечеством!

— И, милой! это дождевая туча: проглянет солнышко — и ее как не бывало.

— Чтоб угодить будущей моей теще, я вышел в отставку; а может быть, скоро вспыхнет ужасная война, может быть, вся Европа..

— Пожалует к нам в гости? Пустое, mon cher! Поговорят, поговорят между собою, пострадают друг друга, да тем и дело кончится.

— Ты думаешь?

— Россия не Италия, мой друг! И далеко и холодно; да и народ-то постоит за себя. Не беспокойся, Наполеон умен; поверь, он знает, что мы народ непросвещенный, северные варвары и терпеть не можем незваных гостей. А признаюсь, мне почти досадно, что дело обойдется без ссоры. L'homme du Destin (Избранник судьбы (фр.)) и его великая нация так зазнались, что способа нет. Вот, посмотри! Видишь ли этих двух господчиков? Это лавочники из одного французского магазина. Посмотри, как важно они поглядывают на всех с высоты своего величия... Тьфу, черт возьми! Ни дать ни взять французские маршалы!.. А! вот опять лиловый капотец... Послушай: если ты не хочешь гулять, так я... Ах, боже мой! она сходит с бульвара.... села в карету... Эх, mon cher! как досадно, что я с тобой заболтался... Ну, делать нечего... Да, кстати!.. где ты сегодня обедаешь?

— Я хотел ехать к Радугиной.

— И полно, не езди; пообедай со мною.

— Нельзя: мне надобно с ней проститься.

— А когда ты едешь отсюда?

— Завтра непременно.

— Ну, вот изволишь видеть! Когда мы с тобой увидимся? Пожалуйста топ cher, обедаем вместе. Ты можешь ехать к Радугиной вечером.

— Эх, Александр! Если б ты знал, как мне неприятно бывать по вечерам у Радугиной! Вечером, почти всякой раз, я встречаю у нее кого-нибудь из чиновников французского посольства, а это для меня нож вострый! Уж это не лавочники из французского магазина; послушал бы ты, как они поговаривают о России!.. Несколько раз я ошибался и думал, что дело идет не об отечестве нашем, а о какой-нибудь французской провинции. Ну, поверишь ли? Вот так кровь и кипит в жилах — терпенья нет! А хозяйка... Боже мой!.. Только что не крестится при имени Наполеона. Клянусь честью, если б не родственные связи, то нога бы моя не была в ее доме.

— И ты сердишься? Да от этого надобно умереть со смеху. Вот то-то и беда, ты не умеешь ничем заявляться. Если б я был на твоём месте, то подсел бы к какому-нибудь советнику посольства, стал бы ему подличать и преуниженно попросил бы наконец поместить меня при первой вакансии супрефектом в Тобольск или Иркутск. Он бы стал ломаться, и я сделал бы из него настоящего Жокриса!.. А, кстати!.. Вчера Талон (Комической актер тогдашней французской труппы в С.-Петербурге. — Прим. автора.) был как ангел в этой роле... Ты видел когда-нибудь французской водевиль «Отчаянье Жокриса»?

— Нет! я езжу только в русский театр.

— Да бишь виноват! Ты любишь чувствительные драмы. Ну, что ж? обедаем ли мы вместе?

— Если ты непременно хочешь...

— Послушай, мой милой, я не приглашаю тебя к себе: ты знаешь, у меня нет и повара. Мы отобедаем в ресторации.

— У Жискара?

— И нет, mon cher! Надобно разнообразить свои удовольствия. У Жискара и Тардифа мы увидим всё знакомые лица. Одно да одно — это скучно. Знаешь ли что? Обедаем сегодня у Френзеля?

— По мне всё равно, где хочешь. А что это за Френзель?

— Это ресторация, в которой платят за обед по рублю с человека. Там увидим мы презабавные физиономии: прегордых писцов из министерских департаментов, глубокомысленных политиков в изорванных сюртуках, художников без работы, учителей без мест, а иногда и журналистов без подписчиков. Что за разговоры мы услышим! Все обедают за общим столом; должность официантов отправляют две толстые служанки и, когда гости откушают суп, у всех, без исключения, отбирают серебряные ложки. Умора, да и только!

— Что же тут смешного? Это обидно.

— И полно, mon cher! Представь себе, что и у нас так же отберут ложки — для того, чтоб мы ошибкою не положили их в карман. Разве это не забавно? Ну право, я иногда очень люблю эту милую простоту. Однажды в Москве мне вздумалось, из шалости, пообедать с Ленским в одном русском трактире, и когда я спросил, что возьмут с нас двоих за обед, то трактирщик отвечал мне преважно: «По тридцати копеек с рыла!» С рыла!! Мы оба с Ленским чуть не умерли со смеху. Пойдем к Френзелю, мой милый. Не вечно же быть в хорошем обществе; надобно иногда потолкаться и в народе.

— Что с тобою делать, повеса! — сказал Рославлев, вставая с скамьи. — Пойдем в твою рублевую ресторацию.

ГЛАВА II

Не доходя до Казанского моста, Зарецкой сошел с бульвара и, пройдя несколько шагов вдоль левой стороны улицы, повел за собою Рославлева, по крутой лестнице, во второй этаж довольно опрятного дома. В передней сидел за дубовым прилавком толстый немец. Они отдали ему свои шляпы.

— Видишь ли, — сказал Зарецкой, входя с приятелем своим в первую комнату, — как здесь все обдуманно? Ну как уйдешь, не заплатя за обед? Ведь шляпа-то стоит дороже рубля.

В первой комнате человек пожилых лет, в синем поношенном фраке, разговаривал с двумя молодыми людьми, которые слушали его с большим вниманием.

— Да, милостивые государи! — говорил важным голосом синий фрак, — поверьте мне, старику; я делал по сему предмету различные опыты и долгом считаю сообщить вам, что принятой способ натирать по скобленому месту сандаракон — есть самый удобнейший: никогда не расплывется. Я сегодня в настольном регистре целую строку выскоблил, и смею вас уверить, что самой зоркой столоначальник не заметит никак этой поскобки. Все другие способы, как-то: насаленная бумажка, натирание сукном, лощение ногтем и прочие мелкие средства никуда не годятся. — Это канцелярские чиновники! — сказал Зарецкой.

— Их разговоры вообще очень поучительны, но совсем не забавны. Пойдем в залу; там что-то громко разговаривают.

В зале, во всю длину которой был накрыт узкой стол, человек двадцать, разделясь на разные группы, разговаривали между собою. В одном углу с полдюжины студентов Педагогического института толковали о последней лекции профессора словесных наук; в другом — учитель-француз рассуждал с дядькою немцем о трудностях их звания; у окна стоял, оборотясь ко всем спиною, офицер в мундирном сюртуке с черным воротником. С первого взгляда можно было подумать, что он смотрел на гуляющих по бульвару; но

стоило только заглянуть ему в лицо, чтоб увериться в противном. Глаза его, устремленные на противоположную сторону улицы, выражали глубокую задумчивость; он постукивал машинально по стеклам пальцами, выбивал тревогу, сбор, разные марши и как будто бы не видел и не слышал ничего. Этот молчаливый офицер был среднего роста, белокур, круглолиц и вообще приятной наружности; но что-то дикое, бесчувственное и даже нечеловеческое изображалось в серых глазах его. Казалось, ни радость, ни горе не могли одушевить этот неподвижный, равнодушный взор; и только изредка улыбка, выражающая какое-то холодное презрение, появлялась на устах его.

В двух шагах от него краснощекой с багровым носом толстяк разговаривал с худощавым стариком. Зарецкой и Рославлев сели подле них.

— Нет, почтеннейший! — говорил старик, покачивая головою, — воля ваша, я не согласен с вами. Ну рассудите милостиво: здесь берут по рублю с персоны и подают только по четыре блюда; а в ресторации «Мыс Доброй Надежды»...

— Так, батюшка! — перервал толстый господин, — что правда, то правда! Там подают пять блюд, а берут только по семидесяти пяти копеек с человека. Так-с! Но позвольте доложить: блюда блюдам розь. Конечно, пять блюд — больше четырех; да не в счете дело: блюдца-то, сударь, там больно незатейливые. — Кто и говорит, батюшка! Конечно, стол не ахти мне; но не погневайтесь: я и в здешнем обеде большого деликатеса не вижу. Нет, воля ваша! Френзель зазнался. Разве не замечаете, что у него с каждым днем становится меньше посетителей? Вот, например, Степан Кондратьевич: я уж его недели две не вижу.

— В самом деле, — подхватил толстяк, — он давно здесь не обедал. А знаете ли, что без него скучно? Что за краснобай!.. как начнет рассказывать, так есть что послушать: гусли, да и только! А новостей-то всегда принесет новостей - господи боже мой!.. Ну что твои газеты... Э! да как легок на помине!.. вот и он! Здравствуйте, батюшка Степан Кондратьевич! — продолжал толстой господин, обращаясь находящему человеку средних лет, в кофейном фраке и зеленых очках, который выступал, прихрамывая и опираясь на лакированную трость с костяным набалдашником.

Появление этого нового гостя, казалось, произвело на "многих сильное впечатление, которое удвоилось при первом взгляде на его таинственную и нахмуренную физиономию. Поклонясь с рассеянным видом на все четыре стороны, он сел молча на стул, нахмурился еще более, наморщил лоб и, посвистывая себе под нос, начал преважно протирать свои зеленые очки. В одну минуту прекратились почти все отдельные разговоры. Учитель француз, дядька немец, студенты и большая часть других гостей столпились вокруг Степана Кондратьевича, который, устремив глаза в потолок, продолжал протирать очки и

посвистывать весьма значительным образом. Один только молчаливой офицер, казалось, не заметил этого общего движения и продолжал по-прежнему смотреть в окно.

— Ну что, почтеннейший! — сказал толстый господин, — что скажете нам новенького?

— Что новенького?.. — повторил Степан Кондратьевич, надевая свои очки, — Гм, гм!.. что новенького?.. И старенького довольно, государь мой!

— Так-с!.. да старое-то мы знаем; не слышно ли чего-нибудь поновее?

— Поновее?.. Гм, гм! Мало ли что болтают, всего не переслушаешь; да и не наше дело, батюшка!.. Вот, извольте видеть, рассказывают, будто бы турки... куда бойко стали драться.

— Право! — Говорят так, а впрочем, не наше дело. Слух также идет, что будто б нас... то есть их побили под Бухарестом. Тисяч тридцать наших легло.

— Как? — вскричал Рославлев, — большая часть молдавской армии?

— Видно что так. Ведь нашего войска и сорока тысяч там не было.

— Извините! Молдавской армии пятьдесят тысяч под ружьем. Степан Кондратьевич взглянул с насмешливой улыбкою на Рославлева и повторил сквозь зубы:

— Под ружьем!.. гм, гм!.. Может быть; вы, верно, лучше моего это знаете; да не о том дело. Я вам передаю то, что слышал: наших легло тридцать тысяч, а много ли осталось, об этом мне не сказывали.

— Однако мы все-таки выиграли сражение? — спросил худощавый старик.

— Разумеется. Когда ж мы проигрываем, батюшка? Мы, извольте видеть, государь мой, всегда побиваем других; а нас — боже сохрани! — нас никто не бьет!

— Тридцать тысяч! — повторил краснощекой толстяк, — Проклятые турки! А не известно ли вам, как происходило сражение?

— Да, смею доложить, — сказал важным тоном Степан Кондратьевич, — я вам могу сообщить все подробности. Позвольте: видите ли на половине этот сучок?.. Представьте себе, что это Бухарест. — Так-с!

— Ну вот, извольте видеть, — продолжал Степан Кондратьевич, проводя по полу черту своей тростию, — вот тут стояло наше войско.

— Так-с, батюшка, то есть здесь, по левую сторону сучка?

— Именно; а на этой стороне расположен был турецкой лагерь. Вот, сударь, в сумерки или перед рассветом — не могу вам сказать наверное — только втихомолку турки двинулись вперед.

— Так-с!

— Выстроили против нашего центра маскированную батарею в двести пушек.

— В двести пушек?.. Так-с, батюшка, так-с...

— Надобно вам сказать, что у них теперь артиллерия отличная: Тяжелая действует скорее нашей конной, а конная не по-нашему, государь мой! вся на верблюдах. Изволите видеть, как умно придумано?..

— Так-с, так-с!

— Ну вот, сударь, наши и думать не думают, как вдруг, батюшка, они грянут изо всех пушек! Пошла потеха. И пехота, и конница, и артиллерия, и господа боже мой!.. Вот янычары заехали с флангу: алла! — да со всех четырех ног на нашу кавалерию.

— Позвольте! — перервал один из студентов. — Янычары не конное, а пехотное войско.

— Эх, сударь! То прежние янычары, а это нынешние.

— Конечно, конечно! — подхватил толстяк, — у них все по-новому. Ну, сударь! Янычары ударили на нашу кавалерию?..

— Да, батюшка; что делать? Пехота не подоспела, а уж известное дело: против их конницы — наша пас...

— Так-с, так-с!

— Главнокомандующий генерал Кутузов, видя, что дело идет худо, выехал сам на коне и закричал: "Ребята, не выдавай!" Наши солдаты ободрились, в штыки, началась резня — и турок попятити назад.

— Слава богу!.. — вскричал худощавый старик.

— Пойдите, пойдите! — продолжал Степан Кондратьевич. — Этим дело не кончилось. Все наше войско двинулось вперед, конница бросилась на неприятельскую пехоту, и что ж?.. Как бы вы думали?.. Турки построились в каре!.. Слышите ли, батюшка? в каре!.. Что, сударь, когда это бывало?

— Так-с, так-с! Умны стали, проклятые!

— Вот, наши туда, сюда, и справа, и слева — нет, сударь! Турки стоят и дерутся, как на маневрах!.. Подошли наши резервы, к ним также подоспел секурс (подмога (фр.)), и, как слышно, сражение продолжалось непрерывно четверо суток; на пятые...

— Верно, всем захотелось поесть? — перервал Зарецкой.

— Поесть? Нет, сударь, не пойдет еда на ум, когда с нашей стороны, — как я уже имел честь вам докладывать, — легло тридцать тысяч и не осталось ни одного генерала: кто без руки, кто без ноги. А главнокомандующего, — прибавил Степан Кондратьевич вполголоса, — перешибло пополам ядром, вместе с лошадью.

— Гер Езус!.. (Господи Иисусе!.. (нем.)) — вскричал немец дядька, — вместе с лошадью!

— Diable! C'est un fier coup de canon! (Черт! Вот славный пушечный выстрел! (фр.)) — примолвил учитель француз.

— Господи боже мой! — сказал худощавой старик, — какие потери! Легко вымолвить — все генералы! тридцать тысяч рядовых! Да ведь это целая армия!

— Конечно, целая армия, — повторил Степан Кондратьевич. — В старину Суворов и с двадцатью тысячами бивал по сту тысяч турок. Да то был Суворов! Когда под Кагулом он разбил визиря...

— Не он, а Румянцев, — перервал Рославлев.

— И, сударь! Румянцев, Суворов — все едино: не тот, так другой; дело в том, что тогда умели бить и турок, и поляков. Конечно, мы и теперь пожаловаться не можем, — у нас есть и генералы и генерал-аншефы... гм, гм!.. Впрочем, и то сказать, нынешние турки не прежние — что грех таить! Учители-то у них хороши! — примолвил рассказчик, взглянув значительно на французского учителя, который улыбнулся и гордо поправил свой галстук.

— Говорят, — продолжал Степан Кондратьевич, — что у турецкого султана вся гвардия набрана из французов, так дивиться нечему, если нас... то есть если мы теряем много людей. Слышно также, что будто бы султан не больно подается на мировую и требует от нас Одессы... Конечно, не наше дело... а жаль... город торговой... портовой... и чего нам стоила эта скороспелка Одесса! Сколько посажено в нее денег!.. Да делать нечего! Как не под силу придет барахтаться, так вспомнишь поневоле русскую пословицу: худой мир лучше доброй брани.

Тут молчаливый офицер медленно повернулся и, взглянув пристально на рассказчика, сказал:

— Под Бухарестом не было сражения; не мы, а турки просят мира. Французы служат своему императору, а не турецкому султану, и одни подлецы предпочитают постыдный мир необходимой войне.

Все взоры обратились на незнакомого офицера. Степан Кондратьевич хотел что-то сказать, заикнулся, выронил из руки трость, нагнулся ее поднимать и сронил с носа свои зеленые очки. Студенты засмеялись, и почти в то же время одна из служанок, внеся в залу огромную миску с супом, объявила, что кушанье готово. Все сели за стол. Против Зарецкого и Рославлева, между худощавым стариком и толстым господином, поместился присмиривший Степан Кондратьевич; прочие гости расселись также рядом, один подле другого, выключая офицера: он сел поодаль от других на конце стола, за которым оставалось еще много порожних мест. Проворные служанки в одну минуту разнесли тарелки с супом. Наступила глубокая тишина, и только изредка восклицания: бутылку пива!.. кислых щей?.. белого хлеба!.. — прерывали общее молчание.

— Душенька! — сказал Зарецкой одной из служанок, — бутылку шампанского. При сем необычайном требовании все головы, опущенные книзу, приподнялись; у многих

ложки выпали из рук от удивления, а служанка остолбенела и, перебирая одной рукой свой фартук, повторила почти с ужасом: — Бутылку шампанского!

— Да, душенька.

— Настоящего шампанского?

— Да, душенька.

— То есть французского, сударь?

— Да, душенька.

Служанка вышла вон и через минуту, воротясь назад, сказала, что вино сейчас подадут.

— Ведь оно стоит восемь рублей, сударь! — прибавила она, поглядывая недоверчиво на Зарецкого.

— Знаю, миленькая.

Если б Зарецкой был хорошим физиономистом, то без труда бы заметил, что, выключая офицера, все гости смотрели на него с каким-то невольным почтением. Толстый господин, который только что успел прегордо и громогласно прокричать: «Бутылку сантуринского!» — вдруг притих и почти шепотом повторил свое требование. В ту минуту, как Зарецкой, дождавшись наконец шампанского, за которым хозяин бежал в ближайший погреб, наливал первый бокал, чтоб выпить за здоровье невесты своего приятеля, — вошел в залу мужчина высокого роста, с огромными черными бакенбардами, в щеголеватом однобортном сюртуке, в одной петлице которого была продета ленточка яркого пунцового цвета. Лицо его было бы довольно приятно, если б не выражало какую-то дерзкую самонадеянность, какое-то бесстыдное наянство, которые при первом взгляде возбуждали в каждом невольное негодование. Вопреки принятому в сей ресторации обычаю, он вошел в столовую, не снимая шляпы, бросил ее на окно и, не удостоивая никого взглядом, сел за стол подле Рославлева. Подозвав одну из служанок, он сказал, что не хочет ничего есть, кроме жаркого, и велел себе подать бутылку шатолафиту. По иностранному его выговору и по самой физиономии не трудно было отгадать, что он француз.

При появлении этого, нового лица легкой румянец заиграл на щеках молчаливого офицера; он устремил на француза свой бесчувственный, леденелый взор, и едва заметная, но исполненная неприязни и глубокого презрения улыбка одушевила на минуту его равнодушную и неподвижную физиономию.

— Жареные рябчики! — вскричал толстый господин, провожая жадным взором служанку, которая на большом блюде начала разносить жаркое. — Ну вот, почтеннейший, — продолжал он, обращаясь к худощавому старику, — не говорил ли я вам, что блюда блюдам розь. В «Мысе Доброй Надежды» и пять блюд, но подают ли там за общим столом вот это? — примолвил он, подхватя на вилку жареного рябчика.

— Что правда, то правда, — отвечал старик, принимаясь за свою порцию. — Там из жареной телятины шагу не выступят.

Чрез несколько минут обед кончился. Офицер закурил сигарку и сел опять возле окна; Степан Кондратьевич, поглядывая на него исподлобья, вышел в другую комнату; студенты остались в столовой; а Зарецкой, предложив бокал шампанского француз, который, в свою очередь, потчевал его лафитом, завел с ним разговор о политике.

— Я слышал, — сказал Зарецкой, — что ваши дела не так-то хорошо идут в Испании? Француз улыбнулся.

— Не потому ли вы это думаете, — отвечал он, — что Веллингтону удалось взять обманом Бадаиос? Не беспокойтесь, он дорого за это заплатит.

— Однако ж, верно, не дороже того, что заплатили французы, когда брали Сарагоссу, — возразил Рославлев.

— Я советую вам спросить об этом у сарагосских жителей, — отвечал француз, бросив гордый взгляд на Рославлева. — Впрочем, — продолжал он, — я не знаю, почему называют войною простую экзекуцию, посланную в Испанию для усмирения бунтовщиков, которых, к стыду всех просвещенных народов, английское правительство поддерживает единственно из своих торговых видов?

— Бунтовщиков! — сказал Рославлев. — Но мне кажется, что законный их государь...

— Иосиф, брат императора французов, — по крайней мере до тех пор, пока Испания не названа еще французской провинцией.

— Я не думаю, — возразил Зарецкой, — чтобы Европа согласилась признать это древнее государство французской провинцией.

— Европа! — повторил с презрительной улыбкою француз. — А знаете ли, в каком тесном кругу заключается теперь ваша Европа?.. Это небольшое местечко недалеко от Парижа; его называют Сен-Клу.

— Как, сударь! и вы думаете, что все европейские государи...

— Да, мы, французы, привыкли звать их всех одним общим именем: Наполеон. Это гораздо короче.

Лицо Рославлева покрылось ярким румянцем; он хотел что-то сказать, но Зарецкой предупредил его.

— Итак, вы полагаете, — сказал он француз, — что воля Наполеона должна быть законом для всей Европы?

— Этот вопрос давно уже решен, — отвечал француз.

— Однако ж если вы считаете Англию в числе европейских государств, то кажется... но, впрочем, может быть, и англичане также бунтуют? Только, я думаю, вам трудно будет

послать к ним экзекуцию: для этого нужен флот; а по милости бунтовщиков англичан у вас не осталось ни одной лодки.

— Англия! — вскричал француз. — Да что такое Англия? И можно ли назвать европейским государством этот ничтожный остров, населенный торгашами? Этот христианской Алжир, который скоро не будет иметь никакого сообщения с Европою. Нет, милостивый государь! Англия не в Европе: она в Азии; но и там владычество ее скоро прекратится. Индия ждет своего освободителя, и при первом появлении французских орлов на берегах Гангеса раздастся крик свободы на всем Индийском полуострове.

— Но Россия, — сказал Рославлев, — Россия, сударь?

— О! Россия, верно, не захочет ссориться с Наполеоном. Не трогая нимало вашей национальной гордости, можно сказать утвердительно, что всякая борьба России с Францией была бы совершенным безумием.

— В самом деле? — перервал Зарецкой. — Ну, а если мы, на беду, сойдем с ума и вздумаем с вами поссориться?

— От всей души желаю, — сказал француз, — чтоб этого не было; но если, к несчастью, ваше правительство, ослепленное минутным фанатизмом некоторых беспокойных людей или обманутое происками британского кабинета, решится восстать против колосса Франции, то...

— Ну, сударь! Что ж тогда с нами будет? — спросил, улыбаясь, Зарецкой.

— Что будет? Забавный вопрос! Кажется, не нужно быть пророком, чтобы отгадать последствия этого необдуманного поступка. Я спрашиваю вас самих: что останется от России, если Польша, Швеция, Турция и Персия возьмут назад свои области, если все портовые города займутся нашими войсками, если...

— Вы забыли, — вскричал Рославлев, вскочив со своего места, — что в России останутся русские; что тридцать миллионов русского народа, говорящих одним языком, исповедующих одну веру, могут легко истребить многочисленные войска вашего Наполеона, составленные из всех народов Европы!

— Помилуйте! да что такое народ? Глупая толпа, беззащитное стадо, которое, несмотря на свою многочисленность, не значит ничего в военном отношении; и боже вас сохрани от народной войны! Наполеон умеет быть великодушным победителем; но горе той земле, где народ мешается не в свое дело! Половина Испании покрыта пеплом; та же участь может постигнуть и ваше отечество. Солдат выполняет свою обязанность, когда дерется с неприятелем, но мирной гражданин должен оставаться дома. В противном случае он разбойник, бунтовщик и не заслуживает никакой пощады.

— Разбойник! — повторил Рославлев прерывающимся от нетерпения и досады голосом.

— И вы смеее называть разбойником того, кто защищает своего государя, отечество, свою семью...

— Что ж вы горячитесь? — перервал француз. — Я не мешаю вам хвалить образ войны, приличный одним варварам и отвратительный для каждого просвещенного человека; но позвольте и мне также остаться при моем мнении. Я повторяю вам, что народная война не спасла б России, а ускорила б ее гибель. Мы, французы, любим пожить весело, сыплем деньгами, мы щедры, великодушны, и там, где нас принимают с ласкою, никто не пожалуется на бедность, но если мы вынуждены употреблять меры строгости, то целые государства исчезают при нашем появлении. Впрочем, все то, что мы говорили, одно только предположение, и хотя мнение мое основано на здравом смысле...

— И еще на кой-чем другом, — прибавил молчаливый офицер, подходя к французу. — Позвольте спросить, — продолжал он спокойным голосом, — дорого ли вам платят за то, чтоб проповедовать везде безусловную покорность к вашему великому Наполеону?

— Что это значит? — спросил француз, вставая с своего стула. — И надобно вам отдать справедливость, — продолжал офицер, — вы исполняете вашу не слишком завидную должность во всех рублевых трактирах с таким же похвальным усердием, с каким исполняют ее другие в гостиных комнатах хорошего общества.

— Государь мой! я вас не понимаю.

— А кажется, очень понятно. Я вас давно уже знаю, вы мне надоели. Скажите, зачем у вас в петлице эта ленточка? Орден Почетного легиона прилично носить храбрым французским воинам, а вы... Тут офицер сказал что-то на ухо французу.

— Как вы смеее? — вскричал он, отступив два шага назад.

— Извините! На нашем варварском языке этому ремеслу нет другого названия. Впрочем, господин... как бы сказать повежливее, господин агент, если вам это не нравится, то... не угодно ли сюда к сторонке: нам этак ловчее будет познакомиться.

— Да, сударь, я хочу, я требую!..

— Тише, не шумите, а не то я подумаю, что вы трус и хотите отделаться одним криком. Послушайте!..

Он взял за руку француза и, отойдя к окну, сказал ему вполголоса несколько слов. На лице офицера не заметно было ни малейшей перемены; можно было подумать, что он разговаривает с знакомым человеком о хорошей погоде или дожде. Но пылающие щеки защитника европейского образа войны, его беспокойный, хотя гордый и решительный вид — все доказывало, что дело идет о назначении места и времени для объяснения, в котором красноречивые фразы и логика ни к чему не служат.

— Вот как трудно быть уверену в будущем, — сказал Рославлев, выходя с своим приятелем из трактира. — Думал ли этот офицер, что он встретит в рублевой ресторации человека, с которым, может быть, завтра должен резаться.

— И полно, mon cher! дело обойдется без кровопролития. Если бы каждая трактирная ссора кончалась поединком, то давно бы все рестораторы померли с голода. И кто дерется за политические мнения?

— Но если это мнение обижает целую нацию?

— Да разве нация человек? Разве ее можно обидеть? Французы и до сих пор не признают нас за европейцев и за нашу хлеб-соль величают варварами; а отечество наше, в котором соединены климаты всей Европы, называют землею белых медведей и, что всего досаднее, говорят и печатают, что наши дамы пьют водку и любят, чтобы мужья их били. Так что ж, сударь! не прикажете ли за это вызывать на дуэль каждого парижского лоскутника, который из насущного хлеба пишет и печатает свои бредни? Да бог с ними, на здоровье! Пускай себе врут, что им угодно. Мы от их слов татарами не сделаемся; в Крыму не будет холодно; мужья не станут бить своих жен, и, верно, наши дамы, в угодность французским вояжерам (путешественникам (фр.)), не разрешат на водку, которую, впрочем, мы могли бы называть ликером, точно так же, как называется ресторациею харчевня, в которой мы обедали.

Походя несколько времени по опустевшему бульвару, наши молодые друзья расстались. Зарецкой обещал чем свет приехать проститься с Рославлевым, который спешил домой, чтоб отдохнуть и, переодевшись, отправиться на вечер к княгине Радугиной.

ГЛАВА III

В девятом часу вечера карета Рославлева остановилась в Большой Миллионной у подъезда дома, принадлежащего княгине Радугиной. Входя в переднюю, Рославлев, с приметным неудовольствием, заметил в числе слуг богато одетого егеря, который, развалившись на стуле, играл своей треугольной шляпою с зеленым султаном и поглядывал свысока на других лакеев, сидевших от него в почтенной дистанции и вполголоса разговаривавших меж собою. Пройдя приемную и две гостиные комнаты, он встречен был официантом, который, растворя дверь в роскошную диванную, доложил о нем громогласно хозяйке дома.

Родственница Рославлева, богатая вдова, княгиня Радугина, могла служить образцом хорошего тона (к счастью) тогдашнего времени. Она говорила по-русски дурно, по-французски прекрасно, умирала с тоски, живя в Петербурге, презирала все русское, жила два года в Париже, два месяца в Лозанне и третий уже год собиралась ехать в Италию.

Окруженная иностранцами, она привыкла слышать, что Россия и Лапландия почти одно и то же; что отечество наше должно рабски подражать всему чужеземному и быть сколком с других наций, а особливо с французской, для того чтоб быть чем-нибудь; что нам не должно и нельзя мыслить своей головою, говорить своим языком, носить издѣлье своих фабрик, иметь свою словесность и жить по-своему. Бедная Радугина в простоте души своей была уверена, что высочайшая степень просвещения, до которой Россия могла достигнуть, состояла в совершенном отсутствии оригинальности, собственного характера и национальной физиономии; одним словом: заслужить название обезьян Европы — была, по мнению ее, одна возможная и достижимая цель для нас, несчастных северных варваров. Ее всегдашнее общество составлялось предпочтительно из чиновников французского посольства и из нескольких русских молодых литераторов, которые вслух называли ее Коринною, потому что она писала иногда французские стишки, а потихоньку смеялись над ней вместе с французами, которые, в свою очередь, насмехались и над ней, и над ними, и над веем, что казалось им забавным и смешным в этом доме, в котором, по словам их, каждый день разыгрывались презабавные пародии европейского просвещения. Княгиня Радугина была некогда хороша собою; но беспрестанные праздники, балы, ночи, проверенные без сна, — словом, все, что сокращает век наших модных дам, не оставило на лице ее и признаков прежней красоты, несмотря на то, что некогда кричали о ней даже и в Москве:...которая и в древни времена Прелестными была обильна и славна. Одни исполненные томности черные глаза ее напоминали еще об этом давно прошедшем времени и позволяли иногда молодым поэтам в миленьких французских стишках, по большей части выкраденных из конфектной лавки Молилари, сравнивать ее по уму с одною из муз, а по красоте — со всеми тремя грациями.

Комната, в которой Рославлев нашел хозяйку дома, освещалась несколькими восковыми свечами, поставленными в прозрачных фарфоровых вазах, и ярким огнем, пылающим в прекрасном мраморном камине. На круглом столе из карельской березы стоял серебряный чайный прибор; перед ним на диване, покрытом богатой турецкой материею, сидела княгиня Радугина, облокотясь на вышитую по канве подушку, украшенную изображением Азора, любимой ее моськи, которая, по своему отвратительному безобразию, могла назваться совершенством в своем роде. Возле окна, закинув назад голову, сидел на модной козетке (небольшом диване для двух собеседников (фр.)) один из домашних ее поэтов; глаза его, устремленные вверх, искали на расписном плафоне (потолке (от фр. plafond).) комнаты вдохновения и четвертой рифмы к экспромту, заготовляемому на всякой случай. У камина какой-то худощавый французской путешественник поил с блюдечка простывшим чаем толстого Азора, а подле дивана один из главных чиновников

французского дипломатического корпуса, развалиясь в огромных волтеровских креслах, разговаривал с хозяйкою.

— А, здравствуйте, *mon cousin!* (мой кузен! (фр.)) — сказала Радугина, разумеется по-французски, кивнув приветливо головою входящему Рославлеву. — Не хотите ли чаю?

— Нет, княгиня, я не пью чаю после обеда, — отвечал Рославлев, садясь на один из порожних стульев.

— Я вас целый век не видала. Уж не прощаться ли вы приехали со мною?

— Вы отгадали. Я завтра еду.

— За границу?

— Извините! в Москву, а потом в деревню.

— В деревню! Ах, как вы мне жалки!.. *Asopt vieris ici, mon ami!*.. (иди сюда, мой дружок!.. (фр.)) Он вас беспокоит, *monsieur le comte?* (господин граф? (фр.))

— О, нет! напротив, княгиня! — отвечал путешественник. — *Il est charmant!* (Он очарователен! (фр.)) Пей, мой друг, пей!

— Итак, вы едете завтра, *mon cousin?* Когда же вы воротитесь?

— Не знаю; но, верно, не прежде моей свадьбы.

— Ах, боже мой! представьте себе, какая дистракция! (рассеянность! (от фр. *distraction*)) Я совсем забыла, что вы помолвлены. Теперь понимаю: вы едете к вашей невесте. О, это другое дело! Вам будет весело и в Москве, и в деревне, и на краю света. *L'amour embelit tout* (Любовь все украшает! (фр.)).

— Жаль только, — перервал путешественник, — что любовь не греет у вас в России: это было бы очень кстати. Скажите, княгиня, бывает ли у вас когда-нибудь тепло? Боже мой!

— прибавил он, подвигаясь к камину, — в мае месяце! *Quel pays!* (Что за страна! (фр.))

— Что ж делать, граф! — сказала с глубоким вздохом хозяйка. — Никто не выбирает себе отечества!

— Да, сударыня! — подхватил дипломат. — Если б этот выбор зависел от нас, то, верно, в России было б еще просторнее; а. во Франции так тесно, как в Большой парижской опере, когда давали в первый раз «Торжество Траяна»!

— И когда сам Траян присутствовал при своем торжестве, — прибавил путешественник.

— Скажите, *mon cousin*, — сказала Радугина, — ведь вы женитесь на Лидиной?

— Да, княгиня.

— На той самой, которая прошлого года была в Париже?

— То есть на ее дочери.

— Надеюсь, на старшей?

— Да, княгиня, на старшей.

— Ее, кажется, зовут Полиною? Charmante personne! (Прелестное создание!.. (фр.)) О чем мы с вами говорили, барон? — продолжала Радугина. — Ах, да!.. Знаете ли, mon cousin! что вы очень кстати приехали? Мне нужна ваша помощь. Представьте себе! Monsier le baron (Господин барон (фр.)) уверяет меня, что мы должны желать, чтоб Наполеон пришел к нам в Россию. Боже мой! как это страшно! Скажите, неужели мы в самом деле должны желать этого? Рославлев едва усидел на стуле.

— Как, сударыня! — вскричал он...

— Да, да! Он мне это почти доказал.

— Pardon, princesse! (Извините, княгиня! (фр.)) — сказал хладнокровно дипломат, — вы не совсем меня поняли. Я не говорю, что русские должны положительно желать прихода наших войск в их отечество; я объяснял только вам, что если силою обстоятельств Россия сделается поприщем новых побед нашего императора и русские будут иметь благоразумие удержаться от народной войны, то последствия этой кампании могут быть очень полезны и выгодны для вашей нации.

— Извините, барон, мое невежество, — сказал Рославлев, — я, право, не понимаю...

— Не понимаете? Так спросите об этом у голландцев, у всего Рейнского союза; поезжайте в Швейцарию, в Италию; взгляните на утесистые, непроходимые горы, некогда отчаяние несчастных путешественников, а теперь прорезанные широкими дорогами, по которым вы можете, княгиня, прогуливаться в своем ландо (четырехместной карете (фр.)) спокойнее, чем по Невскому проспекту; спросите в Террачине и Неаполе: куда девались бесчисленные шайки бандитов, от которых не было проезда в Южной Италии; сравните нынешнее просвещение Европы с прежними предрассудками и невежеством, и после этого не понимайте, если хотите, какие бесчисленные выгоды влечет за собою присутствие этого гения, колоссального, как мир, и неизбежного, как судьба.

— Прекрасное сравнение! — воскликнул молодой поэт. — Какое у вас цветущее воображение, барон!

— Неизбежный, как судьба!.. — повторила почти набожным голосом хозяйка дома, подняв к небесам свои томные глаза. — Ах, как должен быть величествен вид вашего Наполеона!.. Мне кажется, я его вижу перед собою!.. Какой грандиозо (величие (ит.)) должен быть в этом орлином взгляде, в этом...

— Не глядите так высоко, княгиня! — перервал с принужденною улыбкою Рославлев. — Наполеон невысокого роста.

— Да, ростом он меньше вашего великого Петра, — сказал насмешливо путешественник.

— И ростом и душою! — возразил Рославлев, устремив пылающий взор на француза, который почти до половины уже влез в камин. — Если вы, граф, читали когда-нибудь

историю...

— *Fi, fi! mon cousin!* (Фи, фи, кузен! (фр.)) — вскричала Радугина, — вы горячитесь. Разве нельзя спорить и рассуждать хладнокровно?

— Вы правы, княгиня, — сказал Рославлев, стараясь удержаться. — Граф не может понимать всю великость гения, преобразователя России — он не русской; так же как я, не будучи французом, никак не могу постигнуть, каким образом просвещение преподается помощью штыков и пушек. Нет, господин барон! если мы и нуждаемся в профессорах, то, вероятно, не в тех, которых все достоинства состоят в личной храбрости, а познания — в умение скоро заряжать ружье и метко попадать в цель. Позвольте вам напомнить, что в этом отношении Россия не имеет причины никому завидовать и легко может доказать это на самом деле — даже и победителям полувселенной.

Дипломат улыбнулся и, не говоря ни слова, вынул из кармана брауншвейгскую бумажную табакерку с прекрасным пейзажем. Попотчевав табаком Рославлева, он сказал: — Посмотрите, как хорошо делают нынче эти безделки. Какой правильный рисунок!.. Это вид Аустерлица.

— Да, — отвечал спокойно Рославлев, — я видел почти такую же табакерку; не помню хорошенько, кажется, с видом Прейсиш-Ейлау или Нови. Она еще лучше этой. Господин барон смутился и, помолчав несколько времени, сказал:

— Как жаль, что под Нови ваш Суворов дрался не с Наполеоном. Это был бы один из лучших листков в лавровом венке нашего императора.

— Да, если б французы не были разбиты.

— Но неужели вы думаете, что это могло случиться, когда бы нашим войском командовал сам Наполеон?

— Извините! Я не думаю, а уверен в этом.

— *Bienheureux seux qui croient* (блаженны верующие (фр.)), — пробормотал путешественник, подкладывая дров в потухающий камин.

Поэт улыбнулся, а хозяйка с сожалением посмотрела на Рославлева.

— Но мы отбились от нашей материи, — продолжал дипломат. — Вам кажется странным просвещение, распространяемое помощью оружия; согласитесь, по крайней мере, что порядок, устройство и общепользные работы, которые гигантским своим объемом напоминают почти баснословные дела древних римлян, должны быть необходимым следствием твердой воли, неразлучной с силою. Для приведения в действие высоких предначертаний, коих польза постигается только впоследствии, нужно всемогущество, которым обладает Наполеон; необходимы его бесчисленные войска... И если Россия желает подвинуться вперед...

— И, господин барон! — перервал с улыбкою Рославлев, — что вам за радость просвещать насильно нацию, которая одна, по своей силе и самобытности может сделаться со временем счастливой соперницею Франции. Предоставьте это времени и собственному ее желанию — сравниться в просвещении с остальной частью Европы. Россия и без вашей насильственной помощи идет скорыми шагами к этой высокой цели. всех народов. Поглядите вокруг себя! Скажите, произвели ли ваши предки в течение многих веков то, что создано у нас в одно столетие? Не походит ли на быструю перемену декораций вашей парижской оперы это появление великолепного Петербурга среди непроходимых болот и безлюдных пустынь севера?

— Да неужели вы думаете, сударь, что ваш Петербург может назваться европейские городом? И, полноте!.. В нем все начато и ничто, не кончено. Ваши широкие улицы походят на площади; ваши площади — на какие-то незастроенные пустопорожние места; ваши длинные, невысокие дома — на фабрики... Набережные у вас недурны; но чем можно назвать эти расписные деревянные мостики? Есть ли в Петербурге хоть одна порядочная церковь? Что такое ваша Казанская? Огромная куча материалов, под которою зарыты некоторые опрятно отделанные части, не выкупающие нисколько всю нестройность и безобразие целого. О, будьте спокойны, господа русские! Если французы придут в Петербург, то, верно, не позавидуют вашему Казанскому собору, а увезут, может быть, с собой его гранитные колонны.

— Бога ради, барон! — сказала хозяйка, — не говорите этого при родственнике моем князе Радугине. Он без памяти от этой церкви, и знаете ли почему? Потому что в построении ее участвовали одни русские художники.

— О, это очень заметно! — подхватил путешественник.

— Князь Радугин! — повторил с приметной досадою дипломат. — Как жаль, княгиня, что вы родня этому фанатику, этому необразованному камчадалу, этому...

— Ах! что вы, *monsieur le baron*! Конечно, я не спорю — он моряк, его формы несколько странны, тон очень дурен, а бешеной патриотизм отменно смешон; но, несмотря на это, он, право, добрый и честной человек.

— Согласен, княгиня! Я не понимаю только, чего смотрит ваше правительство? Человек, который может заразить многих своим безумным и вредным фанатизмом, который не скрывает даже своей ненависти к французам, может ли быть терпим в русской столице?

— А в какой же, сударь? — спросил насмешливо Рославлев. — Уж не в французской ли?

— Нигде, сударь! нигде! Такие опасные люди не должны быть терпимы во всей Европе.Пусти они едут в Англию или Восточную Индию; пусть проповедывают там

возмутительные свои правила; по крайней мере, до тех пор, пока на берегах Темзы не развеваются еще знамена Франции.

— Не скоро же они уймутся говорить, — сказал Рославлев.

— Вы думаете? Нет, сударь, скоро наступит последний час владычеству этих морских разбойников; принятая всей Европою континентальная система не выполнялась до сих пор в России с той непреклонной настойчивостию, какую требуют пользы Франции и ваши собственные. Но теперь, когда вашему двору известна решительная воля императора, когда никакие дипломатические увертки не могут иметь места, когда нет середины и русские должны вступить в бой столь неравный или повиноваться...

— Повиноваться? — повторил Рославлев. — Вы забыли, сударь, что мы повинемся только законному государю нашему, а русской царь — одному богу и своей совести! Послушайте, барон! Вы, кажется, довольно и даже слишком откровенно говорили с русским дворянином; позвольте же и мне в мою очередь быть также откровенным. Скажите, для чего эти беспрестанные угрозы? этот невыносимый, повелительный тон? эта уверенность, с которой вы говорите о будущих победах ваших? Или вы не чувствуете, что, унижая все прочие нации, вы делаете вашу ненавистною для всех? Торжествуйте дома ваши победы, наслаждайтесь плодами их, будьте сильнейшей нацией в Европе, но бога ради! не душите всех вашей славою. Оскорбляя беспрестанно самолюбие других народов, вы заставите наконец их очнуться от их непонятного и позорного сна. К чему все то, что вы говорили о России? Если вы думаете застрашать нас, то очень ошибаетесь, господин барон! Чувство, которое с некоторого времени сделалось общим в России, — нет, сударь!.. это чувство не походит на страх. Мы некогда любили вас, как друзей; теперь начинаем ненавидеть, как злейших неприятелей. Поверьте, на обширных полях наших, усеянных костями литовцев и татар, найдется еще довольно места и для новых незваных гостей!.. Извините, барон! так думаю я, — так думают все русские!

— Вы очень красноречиво защищаете вашу национальную славу, — сказал с улыбкою дипломат. — Жаль только, что вы ошибаетесь в одном: выключая некоторых заносчивых патриотов, все русские любят нас точно так же, как любили прежде. Не спорю, может быть, правительство ваше... но народ, а особливо дворяне... О! в них мы совершенно уверены. Не правда ли? Вы по-прежнему предпочитаете наш язык вашему собственному, перенимаете все наши обычаи, одеваетесь по-нашему; словом, стараетесь во всем походить на нас. Признайтесь, что это презабавные доказательства национальной ненависти. Нет, сударь! добрые русские, несмотря ни на какие политические отношения, останутся всегда друзьями французов. Почтение, которое они показывают к нашему дипломатическому корпусу, их уважение даже к одному имени Франции, любовь к

писателям нашим — все доказывает эту неоспоримую истину...

— Князь Димитрий Павлович Радугин! — сказал вошедший слуга.

— Мой зять! — вскричала хозяйка.

— Не принимайте этого готтентота, — шепнул дипломат. — Ах, боже мой! — продолжал он, отодвигая свои кресла от дивана, — какая тоска! вот он!

Двери настежь растворились, и мужчина высокого роста, лет пятидесяти, в морском вицмундире и с Георгиевским крестом в петлице, вошел в комнату.

— Здравствуй, сестра! — сказал он. — Здорово, Рославлев! *Bonjour, messieurs!* (Здравствуйте, господа! (фр.))

— Здравствуйте, князь! — проговорила тихим голосом и по-русски хозяйка дома. — Я сегодня очень нездорова, ужасно болит голова; и если вы, по вашему обыкновению станете кричать...

— Не беспокойся! — перервал князь Радугин, садясь на диван. — Я заехал к тебе на минуту, рассказать одну презабавную историю и очень рад, что застал у тебя этих господ. Так и быть!.. Дурно ли, хорошо ли, а расскажу этот анекдот по-французски: пускай и они посмеются вместе со мною... *Ecoutez, messieurs!* (Послушайте, господа! (фр.)) — примолвил Радугин по-французски. — Хотите ли, я вам расскажу презабавную новость?

— Мы вас слушаем, князь! — отвечал с вежливой улыбкою дипломат. Вояжер перестал также раздувать огонь в камине и придвинулся к дивану.

— Вот, господа! с час тому назад, — продолжал князь Радугин, — в Большой Морской повстречались две кареты, в одной из них сидел ваш посланник, а в другой какой-то гвардейской прапорщик, разумеется малой молодой. По неосторожности кучеров колесо одной кареты зацепилось за колесо другой, к счастью, оба кучера успели остановить лошадей. Вот его превосходительство обиделся, зашумел, закричал, офицер стал извиняться, но посланник не хотел слышать никаких извинений и поднял такой штурм, как будто б дело шло о чести всей Франции. Между тем кругом карет столпилось сотни две зевак. Лакеи суетились вокруг экипажей; но, несмотря на помощь проходящих, не могли никак их расцепить. Офицер высунулся в окно и, продолжая извиняться, сказал его превосходительству, что должно непременно подвинуть назад его карету. «Французы никогда не двигаются назад!» — отвечал гордо посланник. «И русские также! — возразил офицер. — Пошел!» Кучер ударил по лошадям, они рванулись....кряк! — у посланника одного колеса как не бывало. Офицерская карета помчалась вдоль улицы, и весь народ закричал: «Славно! ай да молодец!»

— *Quelle horreur!* (Какой ужас! (фр.)) — вскричала Радугина.

— *Quelle audace!* (Какая дерзость! (фр.)) — воскликнул дипломат.

— *Sa n'a pas de nom!* (Этому нет названия! (фр.)) — прибавил путешественник. Глаза Рославлева заблистали удовольствием, а бедной поэт испугался, побледнел и, казалось, готов был закричать: «Ей-богу! я незнаком с этим офицером!»

— А что всего любопытнее, — продолжал Радугин, — так это то, что, по рассказам, громче всех кричали: «Ай да молодец! спасибо ему!» — как вы думаете, кто? Мужики? Нет, сударь! порядочные и очень порядочные люди!

— Быть не может! — сказал дипломат. — Такая дерзость!..

— Дерзость или нет, этого мы не знаем; дело только в том, что карета, я думаю, лежит и теперь еще на боку!

— Но не ушибся ли господин посланник? — спросил торопливо путешественник.

— Нет, граф! Говорят, что он поизмял только свою прическу *a la Titus* (в стиле Титуса (фр.)) и разбил себе нос.

— Поедьте скорей узнать, справедливо ли это? — сказал путешественнику испуганный дипломат. — О, если это правда, то должно примерно наказать, надобно потребовать *une reparation eclatante!* (примерного удовлетворения! (фр.)) Честь Франции... честь нашего императора!.. Едьте, граф! едьте!

— Как вы думаете, — спросила хозяйка на русском языке князя Радугина, — не послать ли и мне? не ехать ли самой?..

— А что ты думаешь, сестра? Конечно! ты молодая вдова, русская барыня, он француз, любезен, человек не старый; в самом деле, это очень будет прилично. Ступай, матушка, ступай!..

— Но точно ли это правда?

— Дай-то, господи! молебен бы отслужил.

— От кого вы слышали?

— Вот то-то и беда! мне рассказывал об этом один всесветный лгун. Да бог милостив, быть может, на этот раз он сказал и правду.

Французы, спеша узнать о здоровье своего посла, откланялись хозяйке. Рославлев воспользовался этим случаем, чтоб распрощаться также с своей кузиною; обнял дружески князя Радугина и отправился домой.

ГЛАВА IV

Вдали, сквозь утренний туман, сверкали верхи позлащенных спицов адмиралтейства и высокой колокольни Петропавловского собора; но солнце еще не показалось из-за частой сосновой рощи, и густая тень лежала на кровле двухэтажного дома старинной архитектуры, в котором помещался трактир, известный под названием «Руки» или

«Средней рогатки». Все было тихо на большой Московской дороге, скучной и единообразной в сравнении с другими окрестностями Петербурга. Вдруг послышался вдали звонкой валдайской колокольчик; он умолкал на минуту и раздавался опять: то тише, то громче; частил, перебивал, заливался и снова переставал звенеть. Вдоль дороги от Петербурга, расстилая направо и налево густые облака пыли, неслась на лихой шестерне почтовых открытая коляска, за которою едва успевали скакать дрожки, запряженные щегольской парой разношерстных лошадей. Коляска остановилась у дверей трактира; из нее выпрыгнул, Рославлев в дорожном платье и фуражке, а вслед за ним стал вылезать, зевая и потягиваясь, Зарецкой, закутанный в гороховую шинель с пятью или шестью воротниками. Слуга побежал будить трактирщика, а наши приятели сели на скамью, подле дверей.

— Ну, mon cher! — сказал Зарецкой, — теперь, надеюсь, ты не можешь усомниться в моей дружбе. Я лег спать во втором часу и встал в четвертом для того, чтоб проводить тебя до «Средней рогатки», до которой мы, я думаю, часа два ехали. С чего взяли, что этот скверный трактир на восьмой версте от Петербурга? Уж я дремал, дремал! Ну, право, мы верст двадцать отъехали. Ах, батюшки! как я исковеркан!

— Скажи, пожалуйста, Александр, — спросил Рославлев, — давно ли ты сделался такой неженкой? Когда мы служили с тобой вместе, ты не знал устал и готов был по целым суткам не сходить с коня.

— Тогда я носил мундир, mon cher! А теперь во фраке хочу посибаритничать. Однако ж знаешь ли, мой друг? Хотя я не очень скучаю теперешним моим положением, а все-таки мне было веселее, когда я служил. Почему знать? Может быть, скоро понадобятся офицеры; стоит нам поссориться с французами... Признаюсь, люблю я этот милый веселый народ; что и говорить, славная нация! А как подумаешь, так надобно с ними порезаться: зазнались разбойники! Послушай, Вольдемар: если у нас будет война, я пойду опять в гусары.

— И я также, — сказал Рославлев.

— Давай руку! Что в самом деле! служить, так служить вместе; а когда кампания кончится и мы опять поладим с французами, так знаешь ли что?.. Качнем в Париж! То-то бы пожили и повеселились! Эх, милый! что ни говори, а ведь у нас, право, скучно!

— Я этого не вижу.

— Да полно, mon cher! что за патриотизм, когда дело идет о веселье? Я не менее твоего люблю наше отечество и готов за него драться до последней капли крови, а если заберет зевота, так прошу не погневаться, не останусь ни в Москве, ни в Петербурге, а махну

прямехонько в Париж, и даже с условием: не просыпаться ни раза дорогою, а особенно проезжая через ученую Германию.

— Нет, мой друг! Если ты узнаешь скуку, то не расстанешься с нею и в Париже. Когда мы кружимся в вечном чаду, живем без всякой цели; когда чувствуем в душе нашей какую-то неносную пустоту...

— Ах, виноват, мой друг! Я ведь и забыл, что душа твоя полна любви; а в той стране, где живет наша любезная, разумеется, круглый год цветут розы и воздух дышит ароматом. Но, кстати, я и не подумал, как же ты сдержишь свое слово и пойдешь опять в гусары? Если ты успеешь обвенчаться, так жена за тебя уцепится; если будешь женихом, то сам не захочешь покинуть своей невесты. Вот я — так вольный казак: что хочу, то и делаю. У меня точно так же, как у тебя, нет ни отца, ни матери; старая моя тетушка, верно, не будет меня удерживать. Правда, у меня есть и кузины, в пятом или шестом колене; но клянусь тебе честью, я люблю их всех, как родных сестер, — так они больно плакать обо мне не станут. Однако ж послушай, Вольдемар: если уж мы об этом заговорили, так Расскажи-ка мне: как ты влюбился и что такое эта проклятая любовь, от которой умные люди сходят с ума, а дураки иногда становятся умнее?

— Ты знаешь, Александр, что я все прошлое лето жил в деревне, верстах в пятидесяти от Москвы. Около середины лета приехала в мое соседство богатая вдова Лидина, с двумя дочерьми; она только что воротилась из Парижа и должна была, для приведения в порядок дел своих, прожить несколько лет в деревне. Я был уже давно знаком с городничим нашего уездного города, майором Ильменевым. Как образчик некоторых закоренелых невежд прошедшего поколения, этот Ильменев мог бы занять не последнее место в комедии «Недоросль», если б в числе первых комических лиц этой пьесы были люди добрые, честные и забавные только своим невежеством. Он познакомил меня с родным братом Лидиной, Николаем Степановичем Ижорским, также изрядным чудаком, который на Другой же день отрекомендовал меня своей сестре. Ты можешь себе представить, как я обрадовался, найдя в моих соседках милых, любезных и просвещенных женщин.

— Да, мой друг, в провинции ты мог себя поздравить с этой находкою.

— Маменька имеет свою смешную сторону, но дочери...

— Что и говорить — прелесть, совершенство!.. А которое из этих двух совершенств свело тебя с ума?

— Оленька, меньшая сестра, понравилась мне с первого раза более старшей сестры своей, Полины.

— С первого раза? Следовательно, ты влюблен в старшую? Да что ж тебе сначала в ней понравилось? Что, она блондинка или брюнетка?

— У обеих сестер голубые глаза; они обе прекрасны и даже очень походят друг на друга; но, несмотря на это... право, не знаю, как тебе объяснить различие, перед которым исчезает совершенно это наружное сходство. Оленька добра, простодушна, приветлива, почти всегда весела; стыдлива и скромна, как застенчивое дитя; а рассудительна и благоразумна, как опытная женщина; но при всех этих достоинствах никакой поэт не назвал бы ее существом небесным; она просто — прелестный земной цветок, украшение здешнего мира. Но сестра ее... ах! какое неземное чувство горит в ее вечно томных, унылых взорах; все, что сближает землю с небесами, все высокое, прекрасное доступно до этой чистой, пламенной души! Оленька, с согласия своей матери, выйдет замуж, сделается доброй, нежной матерью; но никогда не будет уметь любить, как Полина! В несколько дней нашего знакомства я стал почти домашним человеком у Ли-диной. Оленька перестала меня дичиться; не прошло двух недель, и она бегала уже со мной по саду, гуляла по полям, по роще; одним словом, обращалась, как с родным братом. С детской откровенностью милого ребенка она высказывала мне все, что приходило ей в голову, и часто удивляла меня своим незатейливым, но ясным и верным понятием о свете. С Полиною я не скоро познакомился. Сначала мне казалось даже, что она убегает всех случаев быть вместе со мною; наконец мало-помалу мы сблизились, и только тогда, когда я узнал всю красоту души этого воплощенного ангела, я понял причину ее задумчивости и всегдашнего уныния. Да, мой друг! Полина слишком совершенна для здешнего мира! Ее живое, цветущее воображение облекает все в какую-то неземную одежду. Однажды я читал обеим сестрам только что вышедший роман: «Матильда, или Крестовые походы». Когда мы дошли до того места, где враг всех христиан, враг отечества Матильды, неверный мусульманин Малек-Адель умирает на руках ее, — добрая Оленька, обливаясь слезами, сказала: «Бедняжка! зачем она полюбила этого турка! Ведь он не мог быть ее мужем!» Но Полина не плакала, — нет, на лице ее сияла радость! Казалось, она завидовала жребию Матильды и разделяла вместе с ней эту злосчастную, бескорыстную любовь, в которой небыло ничего земного.

— Воля твоя, Вольдемар! — перервал Зарецкой, покачивая головою, — это что-то уж больно хитро! Как же ты, не будучи ни врагом ее, ни татаринном, успел ей понравиться и решился изъясниться в любви?

— Я долго колебался, и хотя замечал, что частые мои посещения были вовсе не противны Лидиной, но, не смея сам предложить мою руку ее дочери, решился одним утром открыться во всем Оленьке; я сказал ей, что все мое счастье зависит от нее. Как теперь гляжу: она испугалась, побледнела; но когда услышала, что я влюблен в Полину, то лицо ее покрылось живым румянцем, глаза заблистали радостью. «Боже мой! Боже мой! —

вскричала она, — вы хотите жениться на Полине? Как я рада!.. Вы будете моим братом!.. Не правда ли Вы станете называть меня сестрою? О! теперь я никогда не выйду замуж! Нет, я вечно буду жить вместе с вами! Ах, боже мой, как я рада!» Добрая Оленька и плакала и улыбалась в одно время. Слезы градом катились из глаз ее; но, казалось, в эту минуту она была так счастлива!.. Весь этот день я провел в ужасной неизвестности. Полина не выходила из своей комнаты, а Оленька приметным образом старалась не оставаться со мною наедине. Другой день прошел точно так же; наконец, на третий...

— Слава богу! — вскричал Зарецкой. — Ну, мой друг! терпелив ты!

— На третий день, поутру, — продолжал Рославлев, — Оленька сказала мне, что я не противен ее сестре, но что она не отдаст мне своей руки до тех пор, пока не уверится, что может составить мое счастье, и требует в доказательство любви моей, чтоб я целый год не говорил ни слова об этом ее матери и ей самой.

— Целый год! И ты, рыцарь Амадис, на это согласился?

— Ах, мой друг! я согласился бы на все! Одна надежда назвать ее когда-нибудь моею — была уже для меня неизъяснимым счастьем. В первые три месяца моего испытания соседство наше умножилось приездом отставного полковника Сурского, которого небольшая деревенька была в двух верстах от моего села. Я скоро подружился с этим почтенным человеком, умевшим соединить в себе откровенность прямодушного воина с умом истинно просвещенным и обширными познаниями. Дружба его была для меня одной отрадою; я говорил с ним о Полине, и хотя он часто покачивал головою и называл ее мечтательницею, но, несмотря на это, полюбил всей душою, однако же гораздо менее, чем Оленьку, которая меж тем употребляла все, чтоб сократить время моего испытания. Наконец просьбы ее и красноречие друга моего Сурского победили упорство Полины. Три недели тому назад я назвал ее моей невестою, и когда через несколько дней после этого, отправляясь для окончания необходимых дел в Петербург, я стал прощаться с нею, когда в первый раз она позволила мне прижать ее к моему сердцу и кротким, очаровательным своим голосом шепнула мне: «Приезжай скорей назад, мой друг!» — тогда, о! тогда все мои трехмесячные страдания, все ночи, проведенные без сна, в тоске, в мучительной неизвестности, — все изгладилось в одно мгновение из моей памяти!.. Ах, Александр! Если б ты любил когда-нибудь, если б ты знал, что такое мой друг! в устах обожаемой женщины, если б ты мог понять, какой мир блаженства заключают в себе эти два простые слова...

— Тьфу, черт возьми! — перервал Зарецкой, — так этот-то бред называется любовью? Ну! подлинно есть от чего сойти с ума! Мой друг! Да как же прикажешь ей тебя называть? Мусью Рославлев, что ль?

— Перестань, братец! Твоя душа настоящий ледник.

— Но только не для дружбы, Вольдемар! Я от всей души радуюсь твоему благополучию; надеюсь, Ты будешь счастлив с Полиною; но мне кажется, я больше бы порадовался, если б ты женился на Оленьке.

— Почему же, мой друг?

— Вот изволишь видеть: твоя Полина слишком... как бы тебе сказать?.. слишком... небесна, а я слышал, что эти неземные девушки редко делают своих мужей счастливыми. Мы все люди как люди, а им подавай идеал. Пока ты еще жених и страстный любовник...

— Я буду им вечно!

— Так, mon cher! так! Но теперь ты у ног ее; теперь, нет сомнения, и твой образ облекают в одежду неземную; а как потом ты облечешься сам в халат да закуришь трубку... Ох, милый! что ни говори, а муж-плохой идеал!



— Полно, Зарецкой! Ты судишь обо всем по собственным своим чувствам.

— Конечно, мой друг! тебе все-таки приличнее быть ее мужем, чем всякому другому; ты бледен, задумчив, в глазах твоих есть также что-то туманное, неземное. Вот я, с моей румяной и веселой рожей, вовсе бы для нее не годился. Но, кажется, за нами пришли? Что? Завтрак готов?

— Готов, сударь! — отвечал трактирный слуга, протирая свои заспанные глаза.

— Пойдем, Рославлев. Мы досыта наговорились о небесном, займемся-ка теперь земным.

Позавтракав и выпив бутылку шампанского, наши друзья простились.

— Ну! — сказал Зарецкой, садясь на свои дрожки, — то-то дам тебе высылку! Прощай, mon cher! Ванька! до самой заставы во всю рысь! Adieu, cher ami! (Прощай, дорогой друг! (фр.)) Дай бог тебе счастья, а, право, жаль, что ты женишься не на Оленьке!.. Пошел! Когда Рославлев стал садиться в коляску, мимо ею, по дороге к Царскому Селу, промчались двое дрожек, запряженных парами. Ему показалось, что на одних сидел француз, с которым накануне он обедал в ресторации. Извозчик, оправив сбрую, взлез на козлы, присвистнул, махнул кнутом, колокольчик зазвенел, и по обеим сторонам дороги

замелькали высокие сосны и зеленые поля; изредка показывались среди деревьев скромные дачи, выстроенные в довольном расстоянии одна от другой, по этой дороге, нимало не похожей на Петергофскую, которая представляет почти непрерывный и великолепный ряд загородных домов, пленяющих своей красотой и разнообразием. Через несколько минут коляска поднялась на Пулковскую гору, и вскоре за обширным зверинцем покраснелся вдали колоссальный дворец Царского Села, некогда удивлявший путешественников своей позлащенной кровлею и азиатским великолепием. Подъезжая к зверинцу, одна из лошадей переступила постромку, начала бить; другие лошади также испугались и понесли вдоль дороги. После многих бесполезных усилий извозчику удалось наконец при помощи Рославлева остановить лошадей. Коляска уцелела, но большая часть веревочной сбруи изорвалась, и надобно было, по крайней мере, с полчаса времени для приведения в порядок упряжи. Рославлев, оставя при коляске своего слугу, пошел пешком по дорожке, пробитой вдоль стены зверинца. Он заметил в одном месте небольшой пролом, от которого узенькая тропинка, извиваясь, вела в глубину леса. Желая погулять несколько времени в тени деревьев, Рославлев пустился по тропинке. Не прошло пяти минут, как вдруг ему послышались близкие голоса; он сделал еще несколько шагов, и подле него за кустом погромел отрывистый вопрос: «Ну, что?.. Хорошо ли?» — «Нет, братец!» — отвечал кто-то голосом не вовсе ему не знакомым. «Что это за барьер? Еще на три шага ближе!» Рославлев поразодвинул сучья густого куста, который скрывал от него говорящих, и увидел на небольшой поляне четырех человек. Двое были ему совершенно незнакомы; а в остальных он тотчас узнал молчаливого офицера и француза, с которым обедал накануне в рублевом трактире. Не трудно было отгадать, для чего эти господа приехали так рано в зверинец. Повинуясь первому движению, Рославлев сделал шаг назад: но какое-то непреодолимое любопытство победило это человеческое чувство. С сильно бьющимся сердцем, едва переводя дух, он притаился за кустом и остался невидимым свидетелем кровавой сцены, которая должна была оправдать слова, сказанные им накануне, — о ненависти русских к французам.

— Ну, кончил ли ты? — закричал молчаливый офицер своему товарищу, который вколачивал в землю две палки, в двух шагах одна от другой.

— Кончил! — отвечал молодой человек высокого роста, в военном сюртуке и кавалерийской фуражке. — Только, воля твоя, по-моему, лучше стреляться на плаще. Два шага!.. по крайней мере, надобно четыре.

— Эх, полно, братец! что за ребячество. На, возьми, подсыпь на полку.

— Позвольте спросить, — сказал секундант француза, человек средних лет, который, судя по выговору, был также иностранец. — Я желал бы знать, по крайней мере, причину вашей дуэли.

— А на что вам это? — спросил офицер, подавая своему товарищу другой пистолет. — Приколоти покрепче пулю, братец! Да обей кремь: я осечек не люблю; — Мне кажется, — возразил иностранец, — что я, будучи секундантом, имею полное право знать...

— За что мы деремся?.. — перервал офицер.

— Да так, мне надоела физиономия вашего приятеля. Отмеривай пять шагов, — продолжал он, обращаясь к кавалеристу, — Не угодно ли и вам потрудиться?

— Но, милостивый государь! мне кажется, что если вы не имеете другой причины...

— Имею, сударь! Ваш приятель — француз. Прошу отмеривать пять шагов.

— Еще одно слово, господин офицер. Мне кажется...

— А долго ли, сударь, вам будет казаться? Я вижу, вы любите болтать; а я не люблю, и мне некогда. Извольте становиться! — прибавил он громовым голосом, обращаясь к французу, который молчал в продолжение всего разговора.

— В самом деле! — вскричал кавалерист, — что за болтовня! Драться так драться. Вот твое место, братец. Смотри целясь хорошенько; да не торопись стрелять. Оба противника отошли по пяти шагов от барьера и, повернясь в одно время, стали медленно подходить друг к другу. На втором шагу француз спустил курок — пуля свистнула, и пробитая навылет фуражка слетела с головы офицера.

— Черт возьми! этот француз метит хорошо! — сказал сквозь зубы кавалерист. — Смотри, брат, не промахнись!

Раздался второй выстрел, и вмиг вся левая рука француза облилась кровью.

— Эх, братец! — сказал кавалерист, — немножко бы полее. Я говорил тебе взять мои пистолеты. Какая, черт, стрельба без шнелера! (Приспособление к спусковому механизму (нем.).)

Прошло еще несколько секунд; сердце Рославлева почти перестало биться. Расстояние между поединщиками становилось все менее; вот уже оставалось не более шести или семи шагов... вдруг раздался третий выстрел.

— Ты ранен? — вскричал кавалерист.

— Нет, — отвечал офицер, взглянув хладнокровно на правое плечо свое, с которого пулю сорвало эполет. — Теперь милости прошу сюда к барьеру! — продолжал он, устремив свой неподвижный взор на француза.

— Je suis mort! (я погиб! (фр.)) — промолвил вполголоса раненый.

— Боже мой! он истекает кровью! — сказал его секундант, вынимая белый платок из кармана.

— Не трудитесь! — перервал офицер, — он доживет еще до последнего моего выстрела. Ну, что ж, сударь? Да подходите смелее! ведь я не стану стрелять, пока вы не будете у самого барьера.

— Господин офицер! — вскричал иностранец. — Подумайте! в двух шагах! Это все равно...

— Если б я приставил ему мой пистолет ко лбу? Разумеется. Еще один шаг, господин кавалер Почетного легиона! Прошу покорно!

— Eh bien! soit! (Хорошо! пусть будет так! (фр.)) — сказал француз, бросив в сторону свой пистолет. Он подошел, шатаясь, к барьеру и, сложив крест-накрест руки, стал прямо грудью против своего соперника. Кровь ручьем текла из его раны; смертная бледность покрывала лицо; но он смело смотрел в глаза офицеру, и только едва заметная судорожная дрожь пробегала от времени до времени по всем его членам. Офицер прицелился, — конец его пистолета почти упирался в лоб француз. Вся кровь застыла в жилах Рославлева. Он хотел закричать; но ужас оковал язык его. Меж тем офицер спустил курок, на полке вспыхнуло, но пистолет не выстрелил.

— Ты жив еще, мой друг! — вскричал секундант француз.

— Ненадолго! — примолвил хладнокровно офицер. — Подсыпь на полку, братец!

— Ради самого бога! — сказал отчаянным голосом иностранец, — пощадите этого несчастного!.. У него жена и шестеро детей!

Вместо ответа офицер улыбнулся и, взглянув спокойно на бледное лицо своей жертвы, устремил глаза свои в другую сторону. Ах! если б они пылали бешенством, то несчастный мог бы еще надеяться, — и тигр имеет минуты милосердия; но этот бесчувственный, неумолимый взор, выражающий одно мертвое равнодушие, не обещал никакой пощады.

— Господин офицер! — продолжал иностранец, — если жалость, вам неизвестна, то подумайте, по крайней мере, что вы хотите отправлять в эту минуту должность палача.

— Да, я желал бы быть палачом, чтоб отсечь одним ударом голову всей вашей нации. Посторонитесь!

— Одно слово, сударь, — прошептал едва слышным голосом раненый. — Прощай, мой друг! — продолжал он, обращаясь к своему секунданту. — Не забудь рассказать всем, что я умер как храбрый и благородный француз, скажи ей... — Он не мог докончить и упал без чувств в объятия своего друга.

— Жаль! — сказал кавалерист, — он не трус! И признаюсь, если б я был на твоём месте...

— И полно, братец! Все-таки одним меньше. Теперь, кажется, осечки не будет, — прибавил офицер, взглянув на полку пистолета. Он взвел курок...

— Остановитесь! — вскричал Рославлев, выбежав из-за куста и заслонив собою француза.

— Это ужасно! Это не поединок, а смертоубийство!

— Кто вы? — спросил офицер, опустив свой пистолет.

— Такой же русской, как вы.

— В самом деле? Что ж вам здесь надобно?

— Спасти этого несчастного отца семейства!

— Право? То есть вам угодно стать на его место?

- — Да! — вскричал Рославлев. — И если вы хотите быть чьим-нибудь убийцею...

— Хочу, сударь! Но прежде мне надобно кончить с этим кавалером Почетного легиона!

— Стыдитесь, господин офицер! Разве вы не видите? он без чувств!

— Но жив еще. Позвольте!..

— Нет! — сказал Рославлев, взглянув с ужасом на офицера, — вы не человек, а демон! Возьмите отсюда вашего приятеля, — продолжал он, относясь к иностранцу, — и оставьте мне его пистолеты. А вы, сударь! вы бесчеловечием вашим срамите наше отечество — и я, от имени всех русских, требую от вас удовлетворения.

— О, если вы непременно хотите... Помогите ему, братец, дотащить до дрожек этого храбреца. А с вами, сударь, мы сейчас разделаемся. Русской, который заступает за француза, ничем его не лучше. Вот порох и пули. Потрудитесь зарядить ваши пистолеты. Иностранец перевязал наскоро руку своего товарища и при помощи кавалериста понес его вон из леса. Меж тем, пока Рославлев заряжал оставленные французом пистолеты, офицер не спускал с него глаз.

— Не обедали ли вы вчера в ресторации у Френзеля? — спросил он наконец.

— Да, сударь! Но к чему это?..

— Не трудитесь заряжать ваши пистолеты — я не дерусь с вами.

— Не деретесь?..

— Да. Это было бы слишком нерасчетливо: оставить живым француза, а убить, может быть, русского. Вчера я слышал ваш разговор с этим самохвалом: вы не полуфранцуз, а русской в душе. Вы только чересчур чувствительны; да это пройдет.

— Нет, сударь, права человечества будут для меня всегда священны!

— Даже и тогда, когда эта нация хвастунов и нахалов зальет кровью наше отечество? Не думаете ли вы заслужить их уважение, поступая с ними, как с людьми? Не беспокойтесь! они покروют пеплом всю Россию и станут хвастаться своим великодушием; а если мы придем во Францию и будем вести себя смирнее, чем собственные их войска, то они и

тогда не перестанут называть нас варварами. Неблагодарные! чем платили они до сих пор за нашу ласку и хлебосольство? — продолжал офицер, и глаза его в первый раз еще заблистали каким-то нечеловеческим огнем. — Прочтите, что пишут и печатают у них о России; как насмеются они над нашим простодушием: доброту называют невежеством, гостеприимство — чванством. С каким адским искусством превращают все добродетели наши в пороки. Прочтите все это, подслушайте их разговоры — и если вы не поймете и тогда моей ненависти к этим европейским разбойникам, то вы не русской! Но что я говорю? Вы так же их ненавидите, как я, и, может быть, скоро придет время, что и для вас будет наслажденьем зарезать из своих рук хотя одного француза. Прощайте! Офицер приподнял свою фуражку и пошел скорыми шагами по тропинке, которая шла к противоположной стороне зверинца.

С невольным трепетом смотрел Рославлев вслед за уходящим офицером. Все, что ненависть имеет в себе ужасного, показалось бы добротою в сравнении с той адской злобою, которая пылала в глазах его, одушевляла все Черты лица, выражалась в самом голосе в то время, как он говорил о французах. Рославлев вышел из леса и догнал свою коляску, которая ехала шагом вдоль зверинца. «Боже мой! — думал он в то время, как отдохнувшие лошади мчали его по большой Московской дороге, — до какой степени может ожесточиться сердце человеческое! И как виновен тот, чье властолюбие сделало предметом всеобщей ненависти нацию, столь благородную и некогда столь любимую всеми просвещенными народами Европы». Не скоро прояснилось в душе его, потрясенной ужасной сценою, которой он был свидетелем; но наконец образ Полины, надежда скорого свидания и усадительная мысль, что с каждым шагом уменьшается пространство, их разделяющее, рассеяли грусть его, и будущее предстало пред ним во всем очаровательном своем блеске — обманчивом и ложном, но необходимом для нас, жалких детей земли, почти всегда обманутых надеждою и всегда готовых снова надеяться.

ГЛАВА V

На дворе было пасмурно. Крупные дождевые капли стучали в окна почтового двора села Завидова, в котором Рославлев уже более двух часов дожидался перемены лошадей. Все проезжающие вообще не любят сидеть долго на станциях; но для влюбленного жениха, который спешит увидеться с своей невестою, всякая остановка есть истинно наказание небесное. Ничто не может сравниться с этой пыткой: он нигде не найдет места, горит как на огне; ему везде тесно, везде душно: ему кажется, что каждая пролетевшая минута уносит с собою целый век блаженства, что он состареется в два часа, не доживет до конца своего путешествия. Одним словом, несмотря ни на какую погоду, он пустился бы пешком,

если бы рассудок не говорил ему, что этим он не поможет своему горю, а только отдалит минуту свидания. Пересмотрев давным-давно прибитые по стенам почтового двора — и Шемякин суд, и Илью Муромца, и взятие Очакова, прочитав в десятый раз на знаменитой картине «Погребение Кота» красноречивую надпись: «Кот Казанской, породы Астраханской, имел разум Сибирской», — Рославлев в сотый раз спросил у смотрителя в изорванном мундирном сюртуке и запачканном галстуке, скоро ли дадут ему лошадей, и хладнокровный смотритель повторил также в сотый раз свое невыносимое: «Все, сударь, в разгоне; извольте подождать!»

— Да нельзя ли найти вольных?

— Я уж вам докладывал, что нельзя; пора рабочая.

— Я заплачу вдвое, если надобно, — только бога ради...

— И рад бы радостью, сударь! Да что ж делать? На нет и суда нет! Не прикажете ли чаю?

— Далеко ли отсюда до Москвы?

— Сто три версты с половиною. А чай знатный, сударь! цветочный, самый лучший.

— Сто три версты! А там еще семьдесят! Какая досада! Я мог бы завтра поутру...

— У меня, сударь, есть и московские калачи, а если угодно, так и крендели.

— Что за станция! В этом Завидове вечно нет лошадей!

— Что ж делать, ваше благородие! Ведь здесь не ям, а разгон большой. Прикажете поставить самовар?

— Ну, хорошо, братец! Говорят, что у нас почта хороша. Боже мой! Да не приведи господи никакому христианину ездить на почтовых! Что это?.. едешь, едешь...

— А давно ли вы, сударь, из Питера?.. — спросил смотритель, приказав своей жене готовить чай.

— Стыдно сказать — третий день! И это называют почтою!

— То есть — с лишком по двести верст в сутки? — сказал смотритель, рассчитав по пальцам. — Что ж, сударь? Это езда не плохая. Зимой можно ехать и скорее, а теперь дело весеннее... Чу! колокольчик! и кажется, от Москвы!.. четверкою бричка...

— Ах, сделай милость, любезный! я дам тебе, что хочешь, на водку...

— Пойдите, сударь!.. никак на вольных!.. Нет! с той станции! Ну, вот вам, сударь, и попутчики! Счастлив этот проезжий! ваши лошади, чай, уж отдохнули, так ему задержки не будет.

— Вели же скорей закладывать мою коляску.

— Нельзя, сударь! надобно выкормить лошадей, надобно их напоить; надобно, чтоб они выстоялись, надобно...

— Надобно, чтоб я ехал! Послушай, я заплачу двойные прогоны!

— Нет, сударь, ямщик ни за что не поедет. Вот этак часика через полтора... Эх, сударь! кони знатные — мигом доставят на станцию; а вы меж тем чайку накушайтесь. Проезжий не вышел из своей брички и через несколько минут отправился на лошадях, которые привезли Рославлева. С полчаса еще наш влюбленный путешественник ходил молча взад и вперед по избе; потом от нечего делать напился чаю; и наконец, отворив окно, сел возле него, чтобы видеть, когда станут закладывать его коляску. На завалине перед избою сидел старик лет шестидесяти; он чертил по земле своим подожком и слушал разговоры ямщиков, которые, собравшись в кружок, болтали всякую всячину, не замечая, что проезжий барин может слышать все их слова.

— Что ты, брат Андрюха, так насупился? — спросил один ямщик, в сером армяке, молодого детину в синем кафтане и красном кушаке, — аль жена побила?

— Добро бы жена, — отвечал детина, — а то черт знает кто — нелегкая бы его взяла, проклятого!

— Ой ли! так тебя, брат, поколотили! Уж не почтальон ли, что ты вчера возил?

— Эх, Ваня! кабы почтальон, так куда б ни шло; а то какой-то проезжий барин — пострел бы его побрал!

— Чай, стал погонять, а ты не слушался?

— Вестимо. Вот нынче ночью я повез на тройке, в Подсолнечное, какого-то барина; не успел еще за околицу выехать, а он и ну понукать; так, знашь ты, кричма и кричит, как за язык повешенный. Пошел, да пошел! «Как-ста не так, — подумал я про себя, — вишь, какой прыткой! Нет, барин, погоди! Животы-та не твои, как их поморишь, так и почты не на чем справлять будет». Он ну кричать громче, а я ну ехать тише!

— Вот то-то же! Вишь ты, сам какой задорный, Андрюха!

— Да, слышь ты, глупая голова! Ведь за морем извозчики и все так делают; мне уж третьего дня об этом порассказали. Ну, вот мы отъехали этак верст пяток с небольшим, как вдруг — батюшки светы! мой седок как подымеется да учнет ругаться: я, дискать, на тебя, разбойника, смотрителю пожалуюсь. «Эк-ста чем угрозил! — сказал я. — Нет, барин, смотрителем нас не испугаешь». Я ему, ребята, на прошлой неделе снес гуся да полсотни яиц.

— Умен ты, брат Андрюха! Ну что ж твой седок?

— Осерчал пуще прежнего. Ну меня позорить, а я себе и в ус не дую — еду себе шажком да посвистываю. Вот он приподнялся, да и толк меня в загорбок; я обернулся, поглядел: мужичонок небольшой, и слуги с ним нет, — как не дать отпора? «Слушай, барин, — сказал я, — драться не велено; у меня смотри, я и сам кнутом перепояшу». Лишь только я это вымолвил, как он одной рукой хватить меня за ворот, прыгнул к себе, да и ну лудить по

становой жиле. Я было побарахтаться — куды-те! Ах ты, господи боже мой! взглянуть не на что, а какой здоровенный! Уж он меня возил, возил! Черт бы его побрал! Инда и теперь вздохнуть тяжело!

— Вот то-то, Андрюша! — сказал старый крестьянин, — зачем озорничать! Ведь наше дело таковское — за всяким тычком не угоняешься. А уж если пришла охота подраться, так дрался бы с своим братом: скулы-то равные, — а то еще схватился с барином!..

— Да, с барином! Недолго этим барам-то над нами ломаться.

— А что так? — спросил извозчик в армяке.

— Да так-ста. Мы знам, что знам.

— А что ты знашь, Андрюха? Расскажи, брат.

— Да, расскажи! А как дойдет до исправника...

— И полно! кому вынести? Небось, рассказывай!..

— Ну то-то же! смотрите, ребята! — сказал детина, обращаясь к другим извозчикам, — чур, держать про себя. Вот, третьего дня, повез я под вечер проезжего — знашь ты, какой-то не русской, не то француз, не то немец — леший его знает, а по нашему-то бает; и такой добрый, двугривенный дал на водку. Вот дорогой мы с ним поразговорились. «Что, дискать, брат! — спросил он, — чай, житье ваше плохое?» Ну, вестимо, не сказать же, что хорошо. «Да, барин, — молвил я, — под иной час тяжко бывает; кони дороги, кормы также, разгон большой, а на прогонах далеко не уедешь; там, глядишь, смотритель придерется, к исправнику попадешь в лапы — какое житье? Вот кабы еще проезжие-та, как ваша милость, не понукали; а то наши бары, провал бы их взял! ступай им по десяти верст в час; а поехал вволю рысцой или шагом, так норовят в зубы». — «И впрямь, — сказал проезжий, — что ваше за житье! То ли дело у нас за морем; вот уж подлинно мужички-та живут припеваючи. Во всем воля: что хочешь, то и делай. У нас ямщик прогоны-то берет не по-вашему — по полтине на версту; едет как душе угодно: дадут на водку — пошел рысцой; нет — так и шагом; а проезжий, хоть генерал будь какой, не смей до него и дотронуться. По нашим дорогам — что верста, то кабак; а ямщик волен у каждого кабака останавливаться».

— Ну, Андрюха! — вскричал ямщик в армяке, — житье же там нашему брату!

— Нишни, Ваня! — сказал старый крестьянин, — не мешай ему, пусть он доскажет.

— «А что, батюшка? — молвил я, — продолжал Андрей, — есть ли у вас исправники?»-

— «Какие исправники! У нас мужик и шапки ни перед кем не ломает; знай себе одного Бонапарта, да и все тут!» — «А кто этот Бонапарт, батюшка?» — спросил я. «Вестимо, кто: наш хрэнцузской царь. Слушай-ка, детина, — примолвил проезжий, — я тебе скажу всю правду-истину, а ты своим товарищам рассказывай: наш царь Бонапарт завоевал всю

землю, да и к вам скоро в гости будет». — «Ой ли? — сказал я, — да к нам-та зачем?» — «Затем, брат, что он хочет, чтоб и у вас мужичкам было такое же льготное и привольное житье, как у нас. Варам-то вашим это вовсе не по сердцу; да вы на них не смотрите; они, пожалуй, наговорят вам турусы на колесах: и то и се, и басурманы-та мы... — не верьте! а встречайте-ка нас, как мы придем, с хлебом да с солью».

— А о поборах-та баял, что ль, он? — спросил один пожилой извозчик.

— Как же; слышь ты, никакой тяги не будет: что хошь, то и давай. У нашего, дискать, царя и без вас всего довольно.

— Ну, Андрюша! — сказал старый крестьянин, — слушал я, брат, тебя: не в батюшку ты пошел! Тот был мужик умный; а ты, глупая голова, всякой нехристи веришь! Счастлив этот краснобай, что не я его возил: побывал бы он у меня в городском остроге. Эх он подъехал с каким подвохом, проклятый! Да нет, ребята! старого воробья на мякине не обманешь: ведь этот проезжий — шпион.

— Неужто, дядя Савельич? — сказал ямщик в армяке.

— Ну да! А ты, Андрей, с дуру-та уши и развесил. Бонапарт! Да знаете ли, православные, кто такой этот Бонапарт! Иль никто из вас не помнит, что о нем по всем церквам читали? Ведь он антихрист!

— Ой ли? Так это он? — вскричал пожилой ямщик.

— Он и есть. Ведь он-та все и подсылает подбивать нашу братью; так, слышь ты, лисой и лисит; да не на тех напал. Нет, ребята! чтоб мы поддались иноверцам?.. Ба, ба, ба! да за что так! Что бога гневить, братцы! разве у нас нет батюшки православного русского царя? Разве мы хуже живем других прочих? Что нам, перекусить, что ль, нечего? Слава тебе господи! По праздникам пустых щей не хлебаем, одежонка есть, браги не покупать стать! А если б и худо-то было? Так что ж? Знай про то царь-государь: ему челом; а Бонапарту-та какое до нас дело? Разве мы его?

— Ведь дядя-то Савельич правду говорит, ребята! — сказая один из ямщиков, обращаясь к своим товарищам.

— Да, детушки! Я подолее вас живу на белом свете; в пугачевщину я был уж парень матерой. Тяжко, ребята, и тогда было — такой был по всей святой Руси погром, что и боже упаси! И Пугач также прельщал народ, да умней был этого Бонапарта: назвался государем Петром Федоровичем — так не диво, что перемутил всех православных; а этот что за выскочка? Смотри, пожалуй! вишь, ему жаль нас стало! Экой милостивец выискался! Нет, ребята! Если уж господь бог найдет на нас какую невзгону, так пускай же свои собаки грызутся, а чужие не мешайся.

— Так, вестимо так, Савельич! Правда, Савельич! — заговорили все извозчики, кроме Андрея.

— Что ж ты, брат Андрюха, язычок-та прикусил, а? — спросил пожилой ямщик.

— Что, брат, — отвечал Андрей, почесывая в голове, — оно бы и так, да, слышь ты, он баил, что исправников не будет и бары-то не станут над нами ломаться.

— Ах ты, дурачина, дурачина! — перервал старик, — да разве без старших жить можно? Мы покорны судьям да господам; они — губернатору, губернатор — царю, так испокон веку ведется. Глупая голова! как некого будет слушаться, так и дело-то делать никто не станет.

— Что правда, то правда, — сказал один из ямщиков, — нашему брату нельзя жить без грозы; кабы только прогоны-то были у нас также по полтине на версту...

— А овес по два рубля четверть? Вот то-то и есть, ребята, вы заритесь на большие прогоны, а поспрошайте-ка, чего стоят за морем кормы? Как рублей по тридцати четверть, так и прогоны не взмилятся! Нет, Федотушка! где дорого берут, там дорого и платят!

— Вестимо, так, — сказал извозчик в армяке. — Да вот что, дядя Савельич, кабы поборов-та с нас не было?

— Эх, Ваня, Ваня! Да есть ли земля, где б поборов не было? Что вы верите этим нехристям; теперь-то они так говорят, а дай Бонапарту до нас добраться, так последнюю рубаху стащит; да еще заберет всех молодых парней и ушлет их за тридевять земель в тридесятое государство.

— Что ты, дядя Савельич, нас морочишь!.. — перервал с приметной досадою Андрей. — На что ему забирать чужой народ; у него и своего довольно.

— Довольно, да не совсем. Вот что, ребяташки, мне рассказывал один проезжий: этот Бонапарт воюет со всеми народами; у него что год, то набор. Своих-то всех перехватал в некруты, так и набирает где попало.

— И я тоже слышал, — сказал один пожилой извозчик. — Вишь, какой неугомонный, все таскается с войском по чужим землям! Что это, Савельич, этим хранцузам дома не сидится?

— Видно, брат, земля голодная — есть нечего. Кабы не голод, так черт ли кого потащит на чужую сторону! а посмотри-ка, сколько их к нам наехало: чутьем знают, проклятые, где хлебец есть.

— Да, они на это куда сметливы, — сказал один извозчик в изорванном кафтане, — знают, где раки зимуют. Слышь ты, у нас все дурно, а все-таки к нам лезут!

— Да, да! толкуй себе! — перервал Андрей, — что, чай, у нас хорошо?.. От одной гонки свету божьего не взвидишь. Ну, пусть у них кормы дороже, да зато и езда-то какая? А у нас?.. скачи себе сломя голову.

— Кой прах! — вскричал старик, — наладил одно да одно! Разве деды наши не держали почты? Разве я сам не вожу подчас проезжих? Господи боже мой! — продолжал он, вскочив с завалины, — да что ты за ямщик, коли десяти верст в час не уедешь? Эх, не прежние мои годы!.. Бывало, в старину, как заложить тройку ухарских, так только держись... пыль столбом!.. Куды понукать! Бывало, седок взмолился да учнет милости просить; так нет! сердце не терпит! Дал родным вздохнуть, да и пошел по всем по трем! с горки на горку!.. Эх вы, милые, закатывай, да и только!.. Вот это езда! А селом-то бывало — селом!.. попридержишь у околицы, а как въедешь в улицу — шапку набок, свистнул, гаркнул, да и след простыл... и самому весело, и красны девицы удалым парнем любят; а вас, прости господи, за что и невестам любить? Какие вы ямщики? Волон бы вам гонять да по клюкву-ягоду!

— Что ты, дядя? — перервал ямщик в армяке, — не все в Андрея: и мы прокатим не хуже другого.

— Катай себе, катай! — проворчал сквозь зубы Андрей, — а я своих коней поморить не хочу.

— Мореного морить нечего, — сказал старик. — Корми их одной соломой, так они и без езды отошают. То-то, брат Андрюша! вишь, ты и по будням ходишь в синем кафтане да в красном кушаке. Мы держимся старины: взял прогоны, выпил на гривнягу, да и будет; а ты так нет, как барин — норовишь все в трактир: давай чаю, заморской водки, того-сего, всякой лихой болести; а там хват, хват, ан и сенца не на что купить. А как в мошне пусто, да и дома-то не густо, так поневоле дурь ползет в голову: теперь ты слушаешь рассказы иноземцев, а там, пожалуй, и на большую дорогу выдешь. Нет, брат Андрей, некому тебя бить: замотался ты.

— Да что ж ты, Савельич, взъелся в самом де-ле? — сказал с досадою Андрей. — Что ты, родной иль хрестной мне батька, что ль?

— Полно, Андрюха, ершиться-то, — перервал ямщик в армяке. — Савельич бает правду. Вестимо, ты мотыга; вот уж с месяц, как взял у меня три рубля, а и в помине о них нет...

— Так что ж? — отдам.

— То-то отдам! Я и сам бы умел синий кафтан носить по будням. Знаем мы вас — отдам.

— А осьмину-то овса, что у меня занял, — примолвил пожилой извозчик, — отдашь ли хоть к Петрову дню?

— А за кушак-то когда заплатишь? — закричал ямщик в изорванном кафтане, — ведь ты его купил у меня уж третий месяц. Эй, осрамлю, Андрюшка! при всех в церкви сниму. — Видно, брат Андрюха, — прибавил один молодой детина, — исправник-то мало тебя на прошлой неделе уму-разуму учил.

— Как так? — спросил старик.

— Да так! — продолжал молодой парень. — Он возил со мной проезжих в Подсолнечное, да и ну там буяннить в трактире и с смотрителем-то схватился: вот так к роже и лезет. На грех проезжал исправник, за-стал все как было, да и ну его жаловать из своих рук. Уж он его маил, маил...

- Э! э! — вскричал ямщик в худом кафтане. — Так вот что, ребята! Вот за что он на исправников-то осерчал. Эки пострелы в самом деле! и поозорничать не дадут. Нет, нет — да и плетью!

Все ямщики засмеялись, и пристыженный Андрей не знал уже куда деваться от насмешек, которые на него посыпались, как вдруг со стороны Петербурга зазвенел колокольчик.

— Еще бог дает проезжих! — сказал ямщик в армяке. — Экой разгон!

— Глядь-ка, — вскричал старик. — Ну молодец! как дерет!.. Знать, курьер или фельдтегарь!.. Смотри-ка, смотри! Ай да коренная! Вот, брат, конь!.. Пристяжные насилу постромки уносят.

— Нет, дядя Савельич, — сказал один из ямщиков, — это не курьер, да и кони не почтовые... Ну — так и есть! Это Ерема на своей гнедой тройке. Что это так его черти несут?

Кибитка, запряженная тройкой лихих коней, покрытых пылью и потом, примчалась к почтовому двору. В ней сидели двое купцов: один лет семидесяти и седой как лунь; другой лет под сорок, с светло-русой окладистой бородою. Если нельзя было смотреть без уважения на патриархальную физиономию первого, то и наружность второго была не менее замечательна: она принадлежала к числу тех, которые соединяют в себе все отдельные черты национального характера. Радушие, природный ум, досужество, сметливость и русской толк отпечатаны были на его выразительном и открытом лице. Старик пошел в избу к смотрителю, а товарищ его остался у кибитки.

— Ну что, брат Ерема? — спросил приехавшего ямщику старый крестьянин, — подобру ли, здорову?

— Бог грехам терпит, Савельич! Живем понемногу.

— Эх, как у тебя кони-то припотели! — сказал ямщик в армяке, — видно, брат, больно шибко ехал?

— Да, Ваня, — отвечал ямщик, принимаясь выпрягать лошадей, — взялся на часы, так не поедешь шагом. — А что! За двойные, что ль?

— Нет, брат! по двадцати копеек на версту да целковой на водку!

— Знатная работа! Да что они так торопятся?

— Знать, нужда пристигла: спешат в Москву. Седой-то больно тоскует! всю дорогу проохал. А кто у вас едет?

— Да никто, брат: кроме курьерской тройки, ни одной лошади нет.

Меж тем купец, взойдя на почтовый двор, подал смотрителю свою подорожную. Взглянув на нее и прочтя: «давать из почтовых», смотритель молча положил ее на стол.

— Что, батюшка? — сказал купец, — иль лошадей нет?

— Все в разгоне.

— Нет ли вольных?

— Нет.

— А попутчиков?

— Есть четверня, да вот его благородие уж часа три дожидается.

— Ах, боже мой, боже мой! что мне делать? — вскричал отчаянным голосом купец. — Я готов дать все на свете, только бога ради, господин смотритель, отпустите меня скорее. Смотритель пожал плечами и не отвечал ни слова.

— Вы, кажется, очень торопитесь? — спросил Рославлев, который не мог без сострадания видеть горя этого почтенного старика.

— Ах, сударь! — отвечал купец, — не под лета бы мне эта к скакать; и добро б я спешил на радость, а то... но делать нечего; не мне роптать, окаянному грешнику... его святая воля! — Старик закрыл глаза рукою, и крупные слезы закапали на его седую бороду.

— Извините мое любопытство. — сказал после короткого молчания Рославлев, — какой несчастный случай заставляет вас спешить в Москву?

— Да, сударь! — отвечал старик, утирая глаза, — подлинно несчастный! Господь посетил меня на старости. Я был по торговым делам в Твери; в Москве у меня оставались жена и сын, а меньшой был вместе со мною. Вчера он занемог горячкою, а сегодня поутру я получил письмо от приказчика, в котором он уведомляет, что старшего сына моего разбили лошади, что он чуть жив, а старуха моя со страстей так занемогла, что, того и гляди, отдаст богу душу. И докторов призывали, и Иверскую подымали, все нет легче. Третьего дня ее соборовали маслом; и если я сегодня не поспею в Москву, то, наверно, не застаю ее в живых. Эх, сударь! вы молоды, так не знаете, каково расставаться с тем, с кем прожил сорок лет душа в душу. Не тот сирота, батюшка, у кого нет только отца и матери; а тот, кто пережил и родных и приятелей, кому словечка не с кем о старине перемолвить,

кто, горемычный, и на своей родине, как на чужой стороне. Живой в могилу не ляжешь, батюшка! Кто знает? Может быть, я еще годов десять промаюсь. С моей старухой я невовсе еще был сиротою, а теперь... голубушка моя, родная!.. хоть бы еще разочек на тебя взглянуть, моя сердечная!..

Рыдания перервали слова несчастного старика. До души тронутый Рославлев колебался несколько времени. Он не знал, что ему делать. Решиться ждать новых лошадей и уступить ему своих, — скажет, может быть, хладнокровный читатель; но если он был когда-нибудь влюблен, то, верно, не обвинит Рославлева за минуту молчания, проведенную им в борьбе с самим собою. Наконец он готов уже был принести сию жертву, как вдруг ему пришло в голову, что он может предложить старику место в своей коляске.

— Скажите мне,— спросил он,— можете ли вы расстаться с своим товарищем?

— Могу, сударь! Он ехал на перекладных; а как на последней станции была также задержка, то я взял его с собою.

— Так чего же лучше? Пусть он дожидается лошадей и приедет завтра; а вы не хотите ли доехать до Москвы вместе со мною?

— Ах, мой благодетель!.. Я не смел вас просить об этом; но не стесню ли я вас? — Не беспокойтесь, нам обоим будет просторно.

— Иван Архипович! — сказал другой купец, войдя в избу.— Все лошади в разгоне; что будешь делать? ни за какие деньги нельзя найти. Пришлось поневоле дожидаться.

— Нет, Андрей Васьянович! Вот этот барин — награди его господь! — изволит везти меня, вплоть до самой Москвы, в своей коляске.

— Дай бог вам здоровье, батюшка! — сказал купец, поклонясь вежливо Рославлеву. — Он спешит в Москву по самой экстренной надобности, и подлинно вы изволили ему сделать истинное благодеяние. Я подожду здесь лошадей; и если не нынче, так завтра доставлю вам, Иван Архипович, вашу повозку. Мне помнится, ваш дом за Серпуховскими воротами?

— Да, батюшка! в переулке, в приходе Вознесения господня. Теперь, сударь, — продолжал старик, обращаясь к Рославлеву, — я не смею вас просить остановиться у меня...

— Мне и самому было бы некогда к вам заехать, — перервал Рославлев. — Я только что перемену лошадей в Москве.

— Но неравно вам прилучится проезжать опять чрез нашу Белокаменную, то порадуйте старика, въезжайте прямо ко мне, и если я буду еще жив... Да нет! коли не станет моей

Мавры Андреевны, так господь бог милостив... услышит мои молитвы и приберет меня горемычного.

— Эх, Иван Архипович! — сказал купец, — на что заране так крушиться? Отчаяние — смертный грех, батюшка! Почему знать, может быть, и сожительницам сыновья ваши выздоровеют. А если господь пошлет горе, так он же даст силу и перенести его. А вы покамест все надежды не теряйте: никто как бог.

Старик тяжело вздохнул и, склонив на грудь свою седую голову, не отвечал ни слова.

— Осмелюсь спросить, сударь, — сказал купец после короткого молчания, — откуда изволите ехать?

— Из Петербурга.

— Из Петербурга? А что, сударь, там слышно о войне?

— Вероятно, турецкая война скоро будет кончена.

— Об этом у нас и в Москве давно говорят. Но есть также слухи, что будто бы французы... избави господи!

— Что ж тут страшного? Разве нам в первый раз драться с Наполеоном?

— Да то, сударь, бывало за границею, а теперь, если правда, что болтают, и Наполеон собирается к нам... помилуй господи!.. Да это не легче будет татарского погрома. И за что бы, подумаешь, французам с нами ссориться? Их ли мы не чествуем? Им ли не житье, хоть, примером сказать у нас в Москве? Бояр наших, не погневайтесь сударь, учат они уму-разуму, а нашу братью, купцов, в грязь затоптали; вас, господа, — не осудите, батюшка! — кругом обирают, а нас, беззащитных, в разор разорили! Ну, как бы после этого им не жить с нами в ладу?

— Но разве вы думаете, что с нами желают драться французские модные торговки и учителя? Поверьте, они не менее вашего боятся войны.

— Конечно, батюшка-с, конечно; только — не взыщите на мою простоту — мне сдается, что и Наполеон-та не затеял бы к нам идти, если б не думал, что его примут с хлебом да с солью. Ну, а как ему этого не подумать, когда первые люди в России, родовые дворяне, только что, прости господи! не молятся по-французски. Спору нет, батюшка, если дело до чего дойдет, то благородное русское дворянство себя покажет — постоит за матушку святую Русь и даже ради Кузнецкого моста французов не помилует; да они-то, проклятые, успеют у нас накутить в один месяц столько, что и годами не поправить... От мала до велика, батюшка! Если, например, в овчарне растворят ворота и дворовые собаки станут выть по-волчьи, таи дивиться нечему, когда волк забредет в овчарню. Конечно, собаки его задавят и хозяин дубиною пришибет; а все-таки может случиться, он успеет много овец перерезать. Так не лучше ли бы, сударь, и ворота держать на запоре, и собакам-та не

прикидываться волками; волк бы жил да жил у себя в лесу, а овцы были бы целы! Не взыщите, батюшка! — примолвил купец с низким поклоном, — я ведь это так, спроста говорю.

— Я могу вас уверить, что много есть дворян, которые думают почти то же самое.

— Как не быть, батюшка! И все так станут думать, как тяжело придет; а впрочем, и теперь, что бога гневить, есть русские дворяне, которые не совсем еще обыноземились. Вот хоть и ваша милость: вы, не погнушались ехать вместе с моим товарищем, хоть он не французской магазинщик, а русской купец, носит бороду и прозывается просто Иван Сезёмов, а не какой-нибудь мусье Чертополох. Да вот еще; вы, верно, изволили читать: «Мысли вслух на Красном крыльце Силы Андреевича Богатырева». Книжка не великонька, а куды в ней много дела, и, говорят, будто бы ее сложил какой-то знатный русской боярин, дай господи ему много лет здравствовать! Помните ль, батюшка, как Сила Андреевич Богатырев изволит говорить о наших модниках и модницах: их-де отечество на Кузнецком мосту, а царство небесное — Париж. И потом: «Ох, тяжело, — прибавляет он, — дай боже, сто лет царствовать государю нашему, а жаль дубинки Петра Великого — взять бы ее хоть на недельку из кунсткамеры да выбить дурь из дураков и дур...» Не погневайтесь, батюшка, ведь это не я; а ваш брат, дворянин, русских барынь и господ так честить изволит.

— Не беспокойтесь! — сказал Рославлев, — я за дур и дураков вступаться не стану. Впрочем, не надобно забывать, что в наш просвещенный век смешно и стыдно чуждаться иностранцев.

— Кто и говорит, батюшка! Чуждаться и носить на руках — два дела разные. Чтоб нам не держаться русской пословицы: как аукнется, так и откликнется. Как нас в чужих землях принимают, так и нам бы чужеземцев принимать!.. Ну, да что об этом говорить... Скажите-ка лучше, батюшка, точно ли правда, что Бонапарт сбирается на нас войною? — Это еще не решено.

— А как решится, так что ж он — на Москву, что ли, пойдет?

— Может быть. Он избалован счастьем и привык заключать мир в столицах своих неприятелей.

— Вот что! Да что ж он в них делает?

— Веселится, отдыхает, берет с обывателей контрибуции, то есть деньги.

— И ему платят?

— Поневоле: против силы делать нечего.

— Как нечего? Что вы, сударь! По-нашему вот как. Если дело пошло наперекор, так не доставайся мое добро ни другу, ни недругу. Господи боже мой! У меня два дома да три

лавки в Панском ряду, а если божиим попущением враг придет в Москву, так я их своей рукой запалю. На вот тебе! Не хвались же, что моим владеешь! Нет, батюшка! Русской народ упрям; вели только наш царь-государь, так мы этому Наполеону такую хлеб-соль поднесем, что он хоть и семи пядей во лбу, а — вот те Христос! — подавится. «Нет, это не хвастовство!» — подумал Рославлев, смотря на благородную и исполненную души физиономию купца.

— Дай мне свою руку, почтенный гражданин! — сказал он. — Ты истинно русской, и если б все так думали, как ты...

— И, сударь! придет беда, так все заговорят одним голосом, и дворяне и простой народ! То ли еще бывало в старину: и триста лет татары владели землею русскою, а разве мы стали от этого сами татарами? Ведь все, а чем нас упрекает Сила Андреевич Богатырев, прививное, батюшка; а корень-то все русской. Дремлем до поры до времени; а как очнемся да стряхнем с себя чужую пыль, так нас и не узнаешь!

— Угодно вам ехать, сударь? — сказал Егор, слуга Рославлева, войдя в избу. — Лошади готовы.

Рославлев пожал еще раз руку молодому купцу и сел с Иваном Архиповичем в коляску. Ямщик тронул лошадей, затянул песню, и когда услышал, что купец даст ему целковый на водку, присвистнул и помчался таким молодцом вдоль улицы, что старой ямщик не усидел на завалине, вскочил и закричал ему вслед: — Ай да Прошка! Вот это понашенски! Лихо! Эй ты, закатывай!..

ГЛАВА VI

— Егор!

— Чего изволите, сударь?

— Где ж поворот налево?

— А вон, сударь, за тем леском.

— Не может быть, мы, верно, проехали мимо.

— Никак нет, сударь! До поворота версты две еще осталось.

— Ты врешь! Вот уж с час, как мы выехали с последней станции.

— Помилуйте, Владимир Сергеевич! и полчаса не будет.

— Ты опять пьян, бездельник!

— Никак нет, сударь! В Москве старик купец, которого вы довезли до дому, на радостях, что его жене стало лучше, хотел было поднести мне чарку водки да вы так изволили спешить, что он вместо водки успел только сунуть мне полтинник в руку.

— А как ты смел взять? Ты знаешь, что я этого терпеть не могу.

— Воля ваша, сударь! некогда было спорить, вы так изволили торопиться.

— Эй, ямщик! да полно, знаешь ли ты дорогу в село Утешино?

— Как не знать, ваша милость. Я не раз важивал Прасковью Степановну Лидину в город. Ну ты, одер! посматривай по сторонам-то. — Мне помнится, что поворот с большой дороги был на восьмой версте от станции.

— Да, барин; да восьмая-то верста вон за этим лесом. Ей вы, милые!..

Рославлев замолчал. Минут через пять березовая роща осталась у них назади; коляска своротила с большой дороги на проселочную, которая шла посреди полей, засеянных хлебом; справа и слева мелькали небольшие лесочки и отдельные группы деревьев; вдали чернелась густая дубовая роща, из-за которой подымались высокие деревянные хоромы, построенные еще дедом Полины, храбрым секунд-майором Лидиным, убитым при штурме Измаила. Подъехав к крутому спуску, извозчик остановил лошадей и слез с козел, чтоб подтормозить колеса.

— Посмотрите-ка, сударь! — сказал Егор, — никак, это идет по дороге дурочка Федора?.. Ну так и есть — она!

Крестьянская девка, лет двадцати пяти, в изорванном сарафане, с распущенными волосами и босиком, шла к ним навстречу. Длинное, худощавое лицо ее до того загорело, что казалось почти черным; светло-серые глаза сверкали каким-то диким огнем; она озиралась и посматривало во все стороны с беспокойством; то шла скоро, то останавливалась, разговаривала потихоньку сама с собою и вдруг начала хохотать так громко и таким отвратительным образом, что Егор вздрогнул и сказал с приметным ужасом:

— Ну, встреча! черт бы ее побрал. Терпеть не могу этой дуры... Помните, сударь! у нас в селе жила полоумная Аксинья? Та вовсе была нестрашна: все, бывало, поет песни да пляшет; а эта безумная по ночам бродит по кладбищу, а днем только и речей, что о похоронах да о покойниках... Да и сама-та ни дать ни взять мертвец: только что не в саване.

Меж тем полоумная, поравнявшись с коляской, остановилось, захохотала во все горло и сказала охриплым голосом:

— Здравствуй, барин!

— Здравствуй, Федорушка! Куда идешь?

— Вестимо куда — на похороны. А ты куда едешь?

— В Утешино.

— Ой ли? Да разве барышня-то уж умерла?

— Что ты врешь, дура? — закричал Егор.

— Смотри не дерись! — сказала полоумная, — а не то ведь я сама камнем хвачу.

— А давно ли ты видела барышню? — спросил Рославлев.

— Барышню?.. какую?.. невесту-та, что ль, твою?

— Да, Федорушка!

— Ономясь на барском дворе она дала мне краюшку хлеба, да такой белой, словно просвира.

— Ну что?.. Она здорова?

— Нет, слава богу, худа: скоро умрет. То-то наемся кутьи на ее похоронах!

— Как?.. Она больна?..

— Эх, сударь! — перервал Егор, — что вы ее слушаете? Она весь свет хоронит.

— погоди, голубчик! и ты протянешься.

— Типун бы тебе на язык, ведьма!.. Эко воронье пугало! Над тобой бы и треслось, проклятая! Ну что зеваешь? Пошел!

Коляска двинулась под гору, а сумасшедшая пошла по дороге и запела во все горло: «Со святыми упокой!»

Проехав версты две большой рысью, они поравнялись с мелким сосновым лесом. В близком расстоянии от большой дороги слышались охотничьи рога; вдруг из-за леса показался один охотник, одетый черкесом, за ним другой, и вскоре человек двадцать верховых, окруженных множеством борзых собак, выехали на опушку леса. Впереди всех, в провожании двух стремянных, ехал на сером горском коне толстый барин, в полевом кафтане из черного бархата, с огромными корольковыми пуговицами; на шелковом персидском кушаке, которым он был подпоясан, висел небольшой охотничий нож в дорогой турецкой оправе. Рядом с ним ехал высокий и худощавый человек в зеленом сюртуке, подпоясанный также кушаком, за которым заткнут был широкой черкесской кинжал. Вслед за охотниками выехали из леса, окруженные стаей гончих, человек десять ловчих, доезжачих и псарей. Когда коляска поравнялась с охотой, толстый барин приостановил свою лошадь и закричал:

— Что это? Ба, ба, ба! Рославлев! Стой, стой! Ямщик остановил лошадей.

— А! это вы, Николай Степанович? — сказал Рославлев.

— Милости просим, будущий племянник! Здорово, моя душа! Ну, мы сегодня тебя не ожидали! Да вылезай, брат, из коляски.

— Извините, я спешу!.

— В Утешино? Не, беспокойся: ты там не найдешь своей невесты.

— Ах, боже мой!.. где ж она?

— Христос с тобой!.. что ты испугался? Все, слава богу, здоровы. Они поехали в город с визитом — вот к его жене.

— Здравствуйте, Владимир Сергеевич! — сказал худощавый старик в зеленом сюртуке.

— Насилу мы вас дождались!

— Так я проеду прямо в город.

— Хуже, брат! как раз разъедетесь. Они часа через полтора сюда будут. Я угощаю их охотничьим обедом здесь в лесу, на чистом воздухе. Да вылезай же! Рославлев выпрыгнул из коляски.

— Ну, здравствуй еще раз, любезный жених! — сказал Николай Степанович Ижорской, пожимая руку Рославлева. — Знаешь ли что? Пока еще наши барыни не приехали, мы успеем двух, трехрусаков затравить. Ей, Терешка! Долой с лошади! Один из стремянных слез с лошади и подвел ее Рославлеву.

— Садись-ка, брат! — продолжал Ижорской, — а вы с коляскою ступайте в Утешино. Рославлеву вовсе не хотелось травить зайцев; но делать было нечего; он знал, что дядя его невесты человек упрямый и любит делать все по-своему.

— Ну, брат! — сказал Ижорской, когда Рославлев сел на лошадь, — смотри держись крепче; конь черкесской, настоящий Шалох. Прошлого года мне его привели прямо с Кавказа: зверь, а не лошадь! Да ты старый кавалерист, так со всяким чертом сладишь. Ей, Шурлов! кинь гончих вон в тот остров; а вы, дурачье, ступайте на все лазы; ты, Заливной, стань у той перемычки, что к песочному оврагу. Да чур не зевать! Поставьте прямо на нас милого дружка, чтобы было чем потешить приезжего гостя.

— Уж не извольте опасаться, батюшка! — сказал Шурлов, поседевший в отъезжих полях ловчий, который имел исключительное право говорить и даже иногда перебраниваться с своим барином. — У нас косой не отвертится — поставим прямехонько на вас; извольте только стать вон к этому отъемному острову.

— Ну то-то же, Шурлов, не ударь лицом в грязь.

— Помилуйте, сударь! да если я не потешу Владимира Сергеевича, так не прикажите меня целой месяц к корыту подпускать. Смотрите, молодцы! держать ухо востро! Сбирай стаю. Да все ли довалились?.. Где Гаркало и Будило? Ну что ж зеваешь, Андрей, — подай в рог Ванька! возьми своего полвапегова-то кобеля на свору; вишь, как он избаловался — все опушничает. Ну, ребята, с богом! — прибавил ловчий, сняв картуз и перекрестясь с набожным видом, — в добрый час! Забирай левее!

В одну минуту охотники разъехались по разным сторонам, а псари, с стаею гончих, отправились прямо к небольшому леску, поросшему низким кустарником.

— Терешка! — сказал Ижорской стремянному, который отдал свою лошадь Рославлеву, — ступай в липовую рощу, посмотри, раскинут ли шатер и пришла ли роговая музыка; да скажи, чтоб чрез час обед был готов. Ну, любезные! — продолжал он, обращаясь к Рославлеву, — не думал я сегодня заповевать такого зверя. Вчера Оленька раскладывала карты, и все выходило, что ты прежде недели не будешь. Как они обрадуются! — Да точно ли они сюда приедут?

— Экой ты, братец! уж я сказал тебе, что они обедают здесь, вон в этой роще. Да не отставай, Ильменев! Что ты? иль в стремянные ко мне хочешь?

— Лошаденка-то устала, батюшка Николай Степанович! — отвечал господин в зеленом сюртуке.

— Молчи, брат! будешь с лошадыю. Я велел для тебя выездить чалого донца, знаешь, что в карсте под рукой ходит?

— Ох, боек, отец мой! Не по мне: как раз слечу наземь!

— И полно, братец, вздор! Не кверху полетишь! Да тебе же не в диковинку, — прибавил Ижорской, толкнув локтем Рославлева. — Ты и с места слетел, да не ушибся!

— Как, Прохор Кондратьевич? — спросил Рославлев, — так не вы уж городничим в нашем городе?

— Да, сударь! злые люди обнесли меня перед начальством.

— Расспроси-ка, какую он терпит напраслину, — сказал Ижорской, мигнув потихоньку Рославлеву. — Поклепали малого, будто бы он грамоте не знает.

— Неужели?

— Не грамоты, батюшка, — имя-то свое мы подчеркнем не хуже других прочих, а вот в чем дело: с месяц тому назад наслали ко мне указ из губернского правления, чтоб я донес, сколько квадратных сажень в нашей площади. Я было хотел посоветоваться с уездным стряпчим: человек он ученой, из семинаристов; но на ту пору он уехал производить следствие. Вот я подумал, подумал, да и отрепортовал, что у меня в городе квадратной сажени не имеется и чтоб благоволили мне из губернии доставить образцовую. Что ж, сударь? Ждать-пождать, слышу, — наш губернатор и рвет и мечет! И неуч-то я, и безграмотной — и как, дискать, быть городничим такому невежде; а помилуйте! какое я сделал невежество?.. Вдруг на прошлой неделе бряк указ — я отставлен; а на мое место какой-то немецкой Фон. А так как он еще не прибыл, так сдать мне должность старшему приставу. Что делать, батюшка? Плетью обуха не перешибешь!

— И вас за одно это отставили? — спросил Рославлев.

— Да, сударь! Вот так-то всегда бывает: прикажут без толку, а там наш брат подчиненный и отвечай. Без вины виноват!

— Жаль, что наш губернатор поторопился вас отставить. Если вы не знали, что такое квадратная сажень, зато не знали также, как берут взятки с обывателей.

— Видит бог, нет, батюшка! И ко мне, случалось, забежали с кулечками: кто голову сахару, кто фунтик чаю; да я, бывало, так турну со двора, что насили ноги уплетут.

— Впрочем, охота вам горевать, Прохор Кондратьевич! Вы жили не службою: у вас есть собственное состояние.

— Конечно, есть посильное место, сударь! С голоду не умрем. Да ведь я служил из чести, Владимир Сергеевич! Что ни говори, а городничий у себя в городе велико дело. Бывало, идешь гоголем по улице, побрякиваешь себе шпорами да постукиваешь саб-лею; кто ни попался — шапку долой да в пояс! А в табельные-то дни, батюшка! приедешь в собор — у дверей встречает частный пристав, народ расступается; идёшь по церкви барин барином! Становишься впереди всех, у самого амвона, к кресту подходишь первый... а теперь?.. Ну, да делать нечего, — была и нам честь.

— А как приедет, бывало, в город губернатор? — спросил с улыбкою Рославлев.

— Ну, конечно, батюшка! подчас напляшешься. Не только губернатор, и слуги-то его начнут тебя пырять да гонять из угла в угол, как легавую собаку. Чего б ни потребовали к его превосходительству, хоть птичьего молока, чтоб тут же родилось и выросло. Бывало, с ног собьют, разбойники! А как еще, на беду, губернатор приедет с супругою... ну! совсем молодца замотают! хоть вовсе спать не ложись!

— Вот то-то же, братец! Я слышал, что губернатор объезжает губернию: теперь тебе и горяшка мало, а он, верно, в будущем месяце заедет в наш город и у меня будет в гостях, — примолвил с приметной важностию Ижорской.

— Он много наслышался о моей больнице, о моем конском заводе и о прочих других заведениях. Ну что ж? Праздников давать не станем, а запросто, милости просим! В продолжение этого разговора они проехали с полверсты полем и остановились подле частого кустарника. С одной стороны он отделялся от леса узкой поляною, а с другой был окружен обширными лугами, которые спускались пологим скатом до небольшой, но отменно быстрой реки; по ту сторону оной начинались возвышенные места и по крутому косогору изгибалась большая дорога, ведущая в город. Прямо против них не было никакой переправы; но вниз по течению реки, версты полторы от того места, где они остановились, перекинут был чрез нее бревенчатый и узкой мостик без перил. Прошло несколько минут в глубоком молчании. Ижорской не спускал глаз с мелкого леса, в который кинули гончих. Ильменев, боясь развлечь его внимание, едва смел переводить дух; стремянный стоял неподвижно, как истукан; один Рославлев повертывал часто свою

лошадь, чтоб посмотреть на большую дорогу. Он решился наконец перервать молчание и спросил Ижорского: здоров ли их сосед, Федор Андреевич Сурской?

— Здоров, братец! — отвечал Ижорской, — что ему делается?.. Пстой-ка?.. Слышишь?.. Никак тяфкнула?.. Нет, нет!.. Он будет сюда с нашими барынями... Чудак!.. поверишь ли? не могу его уговорить поохотиться со мною!.. Бродит пешком да ездит верхом по своим полям, как будто бы некому, кроме его, присмотреть за работою; а уж читает, читает!..

— С утра до вечера, батюшка! — перервал Ильменев. — Как это ему не надоест, подумаешь? Третьего дня я заехал к нему... Господи боже мой! и на столе-то, и на окнах, и на стульях — всё книги! И охота же, подумаешь, жить чужим умом? Человек, кажется, неглупый, а — поверите ль? — зарылся по уши в эту дрянь!..

— Слышишь, Владимир? — сказал Ижорской. — Вот умной-то малый! Книги — дрянь! Ах ты, безграмотный!.. Посмотри-ка, сколько у меня этой драни!

— Помилуйте, батюшка! да у вас дело другое — за стеклышком, книга к книге, так они и красу делают!

— Да, брат, на мою библиотеку полюбоваться можно.

— И вы, сударь, иногда от безделья книжку возьмете; да вы человек рассудительный: прочли страничку, другую, и будет; а ведь он меры не знает. Недели две тому назад...

— Молчи-ка, брат!.. Чу! никак добираются?.. так и есть!.. Натекли!.. Ого-го! как

приняли!.. Ну! свалились!.. пошла писать!.. помчали!..

— Никак, по горячему следу, батюшка?

— Нет, братец! иль не слышишь? по зрячему... Владимир, смотри, смотри!.. Да не туда, куда ты смотришь. Рославлев! что ты, братец?

Но Рославлев не видел и не слышал ничего. Вдали за речкой показался на большой дороге ландо, заложный шестью лошадьми.

— Вот он, вот он! — закричал вполголоса Ижорской.

— Да, это он! — повторил Рославлев, узнав экипаж Лидиной.

— О-о-ту его!.. — затянул протяжным голосом стремянный, показывая собакам русака, который отделился от леса.



— Береги, Рославлев, береги! — закричал Ижорской. — Вот он!.. О-ту его!.. Постой, братец! Куда ты, пострел? Постой!.. не туда, не туда!..

Но Рославлев был уже далеко. Он пустился, как из лука стрела, вниз по течению реки; собаки Ижорского бросились вслед за ним; другие охотники были далеко, и заяц начал преспокойно пробираться лугами к большому лесу, который был у них позади. Ижорской бесился, кричал; но вскоре крик его заглушили отчаянные вопли ловчего Шурлова, который, выскавав вслед за гончими из острова, увидел эту непростительную ошибку. Он рвал на себе волосы, выл, ревел, осыпал проклятиями Рославлева; как полоумный пустился скакать по полю за зайцем, наскочил на пенек, перекувырнулся вместе с своею лошадью и, лежа на земле, продолжал кричать: «О-ту его — о-ту! береги, береги!..»

Меж тем, Рославлев в несколько минут доскакал на своем черкесском коне до реки. Ах! как билось сердце влюбленного жениха! Казалось, оно готово было вырваться из груди его!.. Так; это они!.. они едут шибкой рысью по крутому противоположному берегу. Рославлев поравнялся с ними, его узнали, ему кричат; но он видит одну Полину... Вот она!.. Белый платок ее развевается по воздуху. О! если б лошадь его имела крылья, если б он мог перескочить чрез эту несносную реку, которая, как будто б радуясь, что разделяет двух любовников, крутилась, бушевала и, покрытая пеной, мчалась между крутых берегов своих. Рославлев хочет ехать берегом: по обширное болото перерезывает ему дорогу. Чтоб добраться до моста, ему надобно сделать большой объезд лесом. Он понукает свою лошадь, продирается сквозь частой кустарник, перепрыгивает через колоды и пеньки, летит и — вот он опять в поле, опять видит вдали карету, которая, спустясь с крутого берега, въехала на узкой мост. Кто-то в белом платье высунулся до половины из окна и смотрит ему навстречу... Это, верно, Полина. Вдруг дверцы растворились, раздался громкой крик, белое платье мелькнуло по воздуху, вода расступилась, закипела — и все исчезло. «Боже мой!..» — Рославлев ахнул, сердце его перестало биться, в глазах потемнело; он не видел даже, что вслед за белым платьем какой-то мужчина бросился в воду. Почти без чувств примчался он к берегу реки, которая в этом месте, стесняемая двумя островами, текла с необычайной быстротою. Мужчина пожилых лет употреблял почти нечеловеческие усилия, чтоб отплыть от берега, к которому его прибило быстрым течением; шагах в двадцати от него то показывалось поверх воды, то исчезало белое платье. Рославлев на всем скаку бросился в воду. Черкесской конь, привыкший переплывать горные потоки, с первого размаха вынес его на средину реки; он повернул его по течению, но не успел бы спасти погибающую, если б, к счастью, ей не удалось схватиться за один куст, растущий на небольшом острове, вокруг которого вода кипела и крутилась ужасным образом. В ту самую минуту, как она, совершенно обессилев,

переставала уже держаться за сучья, Рославлев успел обхватить ее рукою и выплыть вместе с нею на берег. Он соскочил с лошади, бережно опустил ее на траву и тут только увидел, что спас не свою невесту, а сестру ее Оленьку. «Это вы?.. — сказала она слабым голосом. — Это ты... избавитель мой?..» — повторяла она, обвив руками его шею; но вдруг глаза ее закрылись, и она без чувств упала на грудь Рославлева.

ГЛАВА VII

В начале июля месяца, спустя несколько недель после несчастного случая, описанного нами в предыдущей главе, часу в седьмом после обеда, Прасковья Степановна Лидина, брат ее Ижорской, Рославлев и Сурской сидели вокруг постели, на которой лежала больная Оленька; несколько поодаль сидел Ильменев, а у самого изголовья постели стояла Полина и домовый лекарь Ижорского, к которому Лидина не имела вовсе веры, потому что он был русской и учился не за морем, а в Московской академии. Он держал за руку больную и хотя не говорил еще ни слова, но нетрудно было отгадать по его веселому и довольному лицу, что опасность миновалась.

— Поздравляю вас, сударыня! — сказал он наконец, обращаясь к Лидиной, — жару вовсе нет, пульс спокойный, ровный. Ольга Николаевна совершенно здорова, и только одна слабость... но это в несколько дней совсем пройдет.

— Точно ли вы уверены в этом? — спросила недоверчиво Лидина.

— Да, сударыня, и так уверен, что прошу вас приказать убрать все эти лекарства; теперь Ольге Николаевне нужны только покой и умеренность в пище.

— Умеренность в пище!.. Да она ничего не ест, сударь!

— Не беспокойтесь! будет кушать. А вам, сударыня! — продолжал лекарь, относясь к Полине, — я советовал бы отдохнуть и подышать чистым воздухом. Вот уж месяц, как вы не выходите из комнаты вашей сестрицы. Вы ужасно похудели; посмотрите: вы бледнее нашей больной.

— Это правда, — перервала Лидина, — она так измучилась, *chere enfant!* (дорогое дитя! (фр.)) Представьте себе, бедняжка почти все ночи не спала!.. Да, да, *mon ange!* (мой ангел! (фр.)) ты никогда не бережешь себя. Помнишь ли, когда мы были в Париже и я занемогла? Хотя опасности никакой не было... Да, братец! там не так, как у вас в России: там нет болезни, которой бы не вылечили...

— Видно, оттого-то в Париже так много и жителей, — сказал шутя Федор Андреевич Сурской.

— И полно, сестра! — подхватил Ижорской, — да разве в Париже никто не умирает?

— Конечно, умирают; но только тогда, когда уже нет никаких средств вылечить больного.

— Извините! — сказал лекарь, — мне надобно ехать в город; я ворочусь сегодня же домой.

Когда он вышел из комнаты, Лидина спросила Оленьку: точно ли она чувствует себя лучше?

— Да, маменька! — отвечала тихим голосом больная, — я чувствую только какую-то усталость.

— Вы еще слабы, — сказал Сурской, — и это очень естественно, после такого сильного потрясения...

— Да, любезный! — перервал Ижорской, — нас всех перетряхнуло порядком; и меня со страстей в лихорадку бросило. Боже мой! вспомнить не могу!.. Дурак Сенька прибежал ко мне как шальной и сказал, что Оленька упала с моста, что ты, Сурской, вытаскивая ее из воды, пошел ко дну и что Рославлев, стараясь вас спасти обоих, утонул с вами вместе. Не знаю, как я усидел на лошади!.. Ну вот, прошу загадывать вперед! Охота, обед, музыка, все мои затеи пошли к черту. А я так радовался, что задам вам сюрприз: вы лишь только бы в палатку, а жених и тут!.. Роговая музыка грянула бы: «желанья наши совершились»; а там новую увертюру из «Дианина древа»! И что ж? Вместо этого всего русак ушел, Шурлов вывихнул ногу, и Оленька чуть-чуть не утонула... Экой выдался денек!

— Я вам докладывал, Николай Степанович! — сказал Ильменев, — что поле будет незадачное. Извольте-ка припомнить: лишь только мы выехали из околицы, так нам и пырь в глаза батька Василий; а ведь, известное дело, как с попом повстречаешься, так не жди ни в чем удачи.

— Полно врать, братец! Все это глупые приметы. Ну что имеет общего поп с охотою? Конечно, и я не люблю, когда тринадцать сидят за столом, да это другое дело. Три раза в моей жизни случалось, что из этих тринадцати человек кто через год, кто через два, кто через три, а непременно умрет; так тут поневоле станешь верить.

— В самом деле, — сказал, улыбаясь, Сурской, — это странно! И все эти умирающие были люди молодые?

— Ну, нет! Один-то был уж лет семидесяти — такой старик здоровый! Вдруг свернуло, году не прожил после обеда, на котором он был тринадцатым.

— А я так думаю, — сказала Лидина, — что это несчастье случилось оттого, что у вас в России нет ничего порядочного: дороги скверные, а мосты!.. Dieu! quelle abomination! (Как это смешно! (фр.)) Если б вы были во Франции и посмотрели...

— Полно, сестра! Что, разве мост подломился под вашей каретою? Прошу не погневаться: мост славной и строен по моему рисунку; а вот если б в твоей парижской карете дверцы притворялись плотнее, так дело-то было бы лучше. Нет, матушка, я уверен, что наш

губернатор полюбуется на этот мостик... Да, кстати! Меня уведомляют, что он завтра приедет в наш город; следовательно, послезавтра будет у меня обедать.

— Пелагея Николаевна! — сказал Сурской, — лекарь говорил правду: вы так давно живете затворницей, что можете легко и сами занемочь. Время прекрасное, что б вам не погулять?

— А он пойдет вместе с тобою, — шепнула Оленька. — Ведь вы еще не успели двух слов сказать друг другу.

— Поди, мой ангел! — сказала Лидина. — Владимир Сергеевич, ступайте с нею в сад.

— Ну что ж ты задумалась, племянница? — закричал Ижорской.

— Полно, матушка, ступай! Ведь смерть самой хочется погулять с женихом. Ох вы, барышни! А ты что смотришь Владимир? Под руку ее, да и марш!

— Возьми, мой друг, с собой зонтик, — сказала Лидина Полине, которая решила наконец оставить на несколько времени больную. — Вот тот, что я купила тебе — помнишь, в Пале-Рояле? Он больше других и лучше закроет тебя от солнца.

— Знаешь ли, сестра! — примолвил вполголоса Ижорской, смотря вслед за Рославлевым, который вышел вместе с Полиною, — знаешь ли, кто больше всех пострадал от этого несчастного случая? Ведь это он! Свадьба была назначена на прошлой неделе, а бедняжка Владимир только сегодня в первый раз поговорит на свободе с своей невестой. Не в добрый час он выехал из Питера!

— Мне нельзя согласиться с вами, дядюшка! — сказала больная. — Если б он выехал одним часом позже из Петербурга, то, вероятно, меня не было бы на свете.

— Да, он подоспел в пору.

— Так в самом деле, — спросила Лидина — он один спас Оленьку?

— А с нею и меня, — отвечал Сурской, — судя по тому, как трудно мне было одному выбраться на берег. Нет сомнения, что я не спас бы Ольгу Николаевну, а утонул бы с нею вместе!

— Добрый Рославлев!.. Я, право, люблю его, как родного сына, — примолвила Лидина. — Одно мне только в нем не нравится этот несносный патриотизм, и не странно ли видеть, что человек образованный сходит с ума от всего русского?.. *Comme c'est ridicule!* (откуда это берется? (фр.)) Скажите мне, *monsieur* Сурской, *d'ou vient cela?* Он, кажется, хорошо воспитан?

— Да, сударыня! — отвечал с улыбкою Сурской, — он очень хорошо воспитан; а если имеет слабость любить Россию, так это, вероятно, потому, что он не француз.

— Да не вовсе и русской, братец! — подхватил Ижорской. — Вы оба с ним порядком обыноземились. Я сам, благодаря бога, не невежда и знаю кой-что, а не стану вопить, как

вопите вы и ваша заморская челядь против нашей дворянской роскоши. Нет, братец! не походите вы оба на русских бояр. Ты, любезный, зарылся в книги, как профессор, живешь каким-то философом, да и Владимир не лучше тебя. Ну, поверишь ли, сестра, как я ему сказал, что у меня без малого четыреста душ дворовых, так он ахнул?.. «Ах, батюшки! четыреста душ!.. Помилуйте! ведь они ничего не делают, а только даром хлеб едят». — «Как ничего? а разве меня не тешут?» — «Да на что вам такая орава?» — «Вот забавно! Стану я считать, сколько у меня людей! Что я, немецкой барон, что ль, какой-нибудь? Нет, сударь! я русской столбовой дворянин и, прошу не погневаться, колокольчика к моим дверям привешивать не стану».

— Подлинно, сударь, вы столбовой русской боярин! — сказал Ильменев, взглянув с подобострастием на Ижорского. — Чего у вас нет! Гости ли наедут — на сто человек готовы постели; грунтовой сарай на целой десятине, оранжереям конца нет, персиков, абрикосов, дуль всякого фрукта... Господи боже мой!.. ешь — не хочется! Истинно куда ни обернись — все барское! В лакейскую, что ль, заглянешь? так, нечего сказать, глаза разбегутся — целая барщина; да что за народ?.. молодец к молодцу! Ижорской гордо улыбнулся, призадумался, потом вынул огромную золотую табакерку, понюхал с расстановкою табаку и, взглянув ласково на Ильменева, сказал:

— Послушай, Прохор Кондратьевич! в самом деле, чалая донская не по тебе. Знаешь мою гнедую, с белой лысиной?

— Как не знать, батюшка! лошадь богатая: тысячи полторы стоит!

— Так по рукам, братец! Она твоя!

— Как, сударь?

— Ну да, твоя! Езди себе на здоровье да смотри похваливай наш заводец!

Ильменев онемел от восторга и удивления; а когда опомнился, то от избытка благодарности заговорил такую нескладицу, что Ижорской, захохотав во все горло, закричал:

— Полно, любезный, полно! заврался!.. Да будет, братец! доскажешь в другое время!

В продолжение этого разговора Рославлев, ведя под руку свою невесту, шел тихими шагами вдоль широкой аллеи, которая перерезывала на две равные половины обширный регулярный сад, разведенный еще отцом Лидиной. Есть минуты блаженства, в которые язык наш немеет от избытка сердечной радости. Рославлев не говорил ни слова, но он не сводил глаз с своей невесты; он был вместе с нею; рука его касалась ее руки; он чувствовал каждое биение ее сердца; и когда тихой вздох, вылетая из груди ее, сливался с воздухом, которым он дышал, когда взоры их встречались... о! в эту минуту он не желал, он не мог желать другого блаженства! То, что в свете называют страстию, это бурное,

мятежное ощущение всегда болтливо; но чистая, самым небом благословляемая любовь, это чувство величайшего земного наслаждения, не изъясняется словами. Пройдя во всю длину аллеи, которая оканчивалась густой рощей, Полина остановилась.

— Я что-то устала, — шепнула она тихим голосом.

— Сядемте, — сказал Рославлев.

— Только, бога ради! не здесь, подле этих грустных, обезображенных лип. Пойдемте в рощу. Я люблю отдыхать вот там, под этой густой черемухой. Не правда ли, — продолжала Полина, когда они, войдя в рощу, сели на дерновую скамью, — не правда ли, что здесь и дышишь свободнее? Посмотрите, как весело растут эти березы, как пушисты эти ракитовые кусты; с какою роскошью подымается этот высокий дуб! Он не боится, что придет садовник и сровняет его с другими деревьями.

— И я также не люблю этих подстриженных деревьев, — сказал Риславлев. — Они так единообразны, так живо напоминают нам стены домов, в которых мы должны поневоле запирались зимою. Какая разница!.. Здесь в самом деле и дышишь свободнее. Эта густая зелень, эта дикая, простая природа — все наполняет душу какой-то тихой радостью и спокойствием. Мне кажется... да, Полина! мне кажется, что здесь только, сокрытые от всех взоров, мы совершенно принадлежим друг другу; и только тогда, когда я могу мечтать, что мы одни в целом мире, тогда только я чувствую вполне все мое счастье!

— Так вы очень меня любите? — спросила Полина, чертя задумчиво по песку своим зонтиком. — Очень?..

— Более всего на свете!

— И стали б любить даже и тогда, если б я была несправедлива, если б заплатила за любовь вашу одной неблагодарностью?

— Да, Полина, и тогда! Не в моей власти не любить вас. Это чувство слилось с моей жизнью. Дышать и любить Полину — для меня одно и то же!

— А если бы, для счастья моего, было необходимо, чтоб вы навсегда от меня отказались?..

— Навсегда?..

— Да; если б я потребовала от вас этой жертвы?

— Какая ужасная шутка!

— Но что бы вы сделали, если б я говорила не шутя? Если б в самом деле от этого зависело все счастье моей жизни?

— Все ваше счастье?.. И вы можете меня спрашивать!

— Вы отказались бы добровольно от руки моей?

— Я сделал бы более, Полина! Чтоб совесть ваша была спокойна, я постарался бы пережить эту потерю.

— Добрый Волдемар! — сказала Полина, взглянув с нежностью на Рославлева. — Ах! какую тягость вы сняли с моего сердца! Итак, вы, верно, согласитесь...

— На что? — вскричал Рославлев, побледнев, как приговоренный к смерти.

— Отсрочить еще на два месяца нашу свадьбу.

— На два месяца!!

— Друг мой! — сказала Полина, прижав к своему сердцу руку Рославлева, — не откажи мне в этом! Я не сомневаюсь, не могу сомневаться, что буду счастлива, но дай мне увериться, что и я могу составить твоё счастье; дай мне время привязаться к тебе всей моей душой, привыкнуть мыслить об одном тебе, жить для одного тебя, и если можно, — прибавила она так тихо, что Рославлев не мог расслышать слов ее, — если можно забыть все, все прошедшее!

— Но два месяца, Полина!..

— Ах, мой друг, почему знать, может быть, ты спешишь сократить лучшее время в твоей жизни! Не правда ли? Ты согласен отсрочить нашу свадьбу?

— Я не стану обманывать тебя, Полина! — сказал Рославлев после короткого молчания.

— Одна мысль, что я не прежде двух месяцев назову тебя моею, приводит меня в ужас. Чего не может случиться в два месяца?.. Но если ты желаешь этого, могу ли я не согласиться!

— Благодарю тебя, мой друг! О, будь уверен, любовь моя вознаградит тебя за эту жертву. Мы будем счастливы... да, мой друг! — повторила она сквозь слезы, — совершенно счастливы!

Вдруг позади их загремел громкой, отвратительный хохот. Полина вскрикнула; Рославлев также невольно вздрогнул и поглядел с беспокойством вокруг себя. Ему показалось, что в близком расстоянии продираются сквозь чащу деревьев; через несколько минут шорох стал отдаляться, раздался снова безумный хохот, и кто-то диким голосом запел: со святыми упокой.

— Это сумасшедшая Федора, — сказала Полина — Как чудно, — прибавила она, покачивая печально головою, — что в ту самую минуту, как я говорила о будущем нашем счастье.

— Зачем эту сумасшедшую пускают к вам в сад? — перервал Рославлев.

— Роща не огорожена, впрочем, эта несчастная не делает никому вреда.

— Но она может испугать, ее сумасшествие так ужасно!..

— Ах, она очень жалка! Пять лет тому назад она сошла с ума от того, что жених ее умер накануне их свадьбы.

— Накануне свадьбы! — повторил вполголоса Рославлев.

— Один день — и вечная разлука!.. А два месяца, мой друг!..

— Вот дядюшка и маменька, — перервала Полина, — пойдемте к ним навстречу.

— Ну что, страстные голубки, наговорились, что ль? — закричал Ижорской, подойдя к ним вместе с своей сестрой и Ильменевым.

— Что, Прохор Кондратьевич, ухмыляешься? Небось, любишься на жениха и невесту? То-то же! А что, чай, и ты в старину гулял этак по саду с твоей теперешней супругою?

— Что вы, батюшка! Ее родители были не нынешнего века — люди строгие, дай бог им царство небесное! Куда гулять по саду! Я до самой почти свадьбы и голоса-то ее не слышал. За день до венца она перемолвила со мной в окно два словечка... так что ж? Матушка ее подслушала да ну-ка ее с щеки на щеку — так разругала, что и боже упаси! Не тем помянута, куда крута была покойница!

— А где Федор Андреевич? — спросила Полина у своего дяди.
— Сурской? Уехал домой.

— Так Оленька одна? Я пойду к ней; а вы, — шепнула она Рославлеву, — останьтесь здесь и погуляйте с дядюшкой.

Больная не заметила, что Полина вошла к ней в комнату. Облокотясь одной рукой на подушки, она сидела задумавшись на кровати; перед ней на небольшом столике стояла зажженная свеча, лежал до половины исписанный почтовый лист бумаги, сургуч и все, что нужно для письма.

— Ну что, как ты себя чувствуешь? — спросила Полина.

— Ах, это ты? — сказала Оленька. — Как ты меня испугала! Я думала, что ты гуляешь по саду с твоим женихом.

— Он остался там с дядюшкой.

— Но ему, верно, было бы приятнее гулять с тобою. Зачем ты ушла?

— К кому ты пишешь? — спросила Полина, не отвечая на вопрос своей сестры.

— В Москву, к кузине Еме. Она, верно, думает, что ты уже замужем.
— Может быть.

— Я не знаю, что мне написать о твоей свадьбе? Ведь, кажется, на будущей неделе?..

— Нет, мой друг!

— А когда же?

— Ты станешь бранить меня. Я уговорила Рославлева отложить свадьбу еще на два месяца.

— Как! — вскричала больная, — еще на два месяца?

— Сначала это его огорчило...

— А потом он согласился?

— Да, мой друг! он так меня любит!

— Слишком, Полина! Слишком! Ты не стоишь этого.

— Ну вот! я знала, что ты рассердишься.

— Можно ли до такой степени употреблять во зло власть, которую ты имеешь над этим добрым, милым Рославлевым! над этим... Чему ж ты смеешься?

— Знаешь ли, Оленька? Мне иногда кажется, что ты его любишь больше, чем я. Ты всегда говоришь о нем с таким восторгом!..

— А ты всегда говоришь глупости, — сказала Оленька с приметной досадою.

— То-то глупости! — продолжала Полина, погрозив ей пальцем.

— Уж не влюблена ли ты в него? — смотри!

Оленька поглядела пристально на сестру свою; губы ее шевелились; казалось, она хотела улыбнуться, но вдруг вся бледность исчезла с лица ее, щеки запылали, и она, схватив с необыкновенною живостию руку Полины, сказала:

— Да, я люблю его как мужа сестры моей, как надежду, подпору всего нашего семейства, как родного моего брата! А тебя почти ненавижу за то, что ты забавляешься его отчаянием. Послушай, Полина! Если ты меня любишь, не откладывай свадьбы, прошу тебя, мой друг! Назначь ее на будущей неделе.

— Так скоро? Ах, нет! Я никак не решусь.

— Скажи мне откровенно: любишь ли ты его?

— Да! — отвечала вполголоса Полина.

— Так зачем же ты это делаешь? Для чего заставляешь жениха твоего думать, что ты своенравна, прихотлива, что ты забавляешься его досадою и огорчением? Подумай, мой друг! он не всегда останется женихом, и если муж не забудет о том, что сносил от тебя жених, если со временем он захочет так же, как ты, употреблять во зло власть свою...

— О, не беспокойся, мой друг! Ты не услышишь моих жалоб.

— Но разве тебе от этого будет легче? Нет, Полина! нет, мой друг! Ради бога не огорчай доброго Волдемара! Почему знать, может быть, будущее твое счастье... счастье всего нашего семейства зависит от этого.

Полина задумалась и после минутного молчания сказала тихим голосом:

— Но это уже решено, мой друг!

— Между тобой и женихом твоим. Не думаешь ли, что он будет досадовать, если ты переменишь твое решение? Я, право, не узнаю тебя, Полина; ты с некоторого времени стала так странна, так причудлива!.. Не упрямясь, мой друг! Подумай, как ты огорчишь этим маменьку, как это неприятно будет Сурскому, как рассердится дядюшка...

— Боже мой, боже мой! — сказала Полина почти с отчаянием, — как я несчастлива! Вы все хотите...

— Твоего благополучия, Полина!

— Моего благополучия!.. Но почему вы знаете... и время ли теперь думать о свадьбе? Ты больна, мой друг...

— О, если ты желаешь, чтоб я выздоровела, то согласись на мою просьбу. Я не буду здорова до тех пор, пока не назову братом жениха твоего; я стану беспрестанно упрекать себя... да, мой друг! я причиною, что ты еще не замужем. Если б я была осторожнее, то ничего бы не случилось: вы были бы уже обвенчаны; а теперь... Боже мой, сколько перемен может быть в два месяца!.. и если почему-нибудь ваша свадьба разойдется, то я вечно не прошу себе. Полина! — продолжала Оленька, покрывая поцелуями ее руки, — согласись на мою просьбу! Подумай, что твое упрямство может стоить мне жизни! Я не буду спокойна днем, не стану спать ночью; я чувствую, что болезнь моя возвратится, что я не перенесу ее... согласись, мой друг! Полина молчала; все черты лица ее выражали нерешимость и сильную душевную борьбу. Трепеща, как преступница, которая должна произнести свой собственный приговор, она несколько раз готова была что-то сказать... и всякой раз слова замирали на устах ее.

— Так! я должна это сделать, — сказала она наконец решительным и твердым голосом, — рано или поздно — все равно! — С безумной живостью несчастливца, который спешит одним разом прекратить все свои страдания, она не сняла, а сорвала с шеи черную ленту, к которой привешен был небольшой золотой медальон. Хотела раскрыть его, но руки ее дрожали. Вдруг с судорожным движением она прижала его к груди своей, и слезы ручьем потекли из ее глаз.

— Что это значит?.. Что с тобой?.. — вскричала Оленька.

— Ничего, мой друг! ничего! — отвечала, всхлипывая, Полина, — успокойся, это последние слезы. Ах, мой друг! он исчез! этот очаровательный... нет, нет! этот тяжелой, мучительной сон! Теперь ты можешь сама назначить день моей свадьбы. Полина раскрыла медальон и вынула из него нарисованное на бумаге грудное изображение молодого человека; но прежде, чем она успела сжечь на свече этот портрет, Оленька бросила на него быстрый взгляд и вскричала с ужасом:

— Возможно ли?..

— Да, мой друг!

— Как! ты любишь?..

— Молчи, ради бога не называй его!

— И я не знала этого!

— Прости меня! — сказала Полина, бросившись на шею к сестре своей. — Я не должна была скрывать от тебя... Безумная!.. я думала, что эта тайна умрет вместе со мною... что никто в целом мире... Ах, Оленька! я боялась даже тебя!..

— Но скажи мне?..

— После, мой друг! после. Дай мне привыкнуть к мысли, что это был бред, сумасшествие, что я видела его во сне. Ты узнаешь все, все, мой друг! Но если его образ никогда не изгладится из моей памяти, если он, как неумолимая судьба, станет между мной и моим мужем?.. о! тогда молись вместе со мною, молись, чтоб я скорей переселилась туда, где сердце умеет только любить и где любовь не может быть преступлением! Полина склонила голову на грудь больной, и слезы ее смешались с слезами доброй Оленьки, которая, обнимая сестру свою, повторяла:

— Да, да, мой друг! это был один сон! Забудь о нем, и ты будешь счастлива!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА I



Двухэтажный дом Николая Степановича Ижорского, построенный по его плану, стоял на возвышенном месте, в конце обширного села, которое отделялось от деревни сестры его, Лидиной, небольшим лугом и узенькой речкою. Испещренный всеми возможными цветами китайской мостик, перегибаясь чрез речку, упирался в круглую готическую башню, которая служила заставою. Широкая липовая аллея шла от ворот башни до самого

дома. Трудно было бы решить, к какому ордену архитектуры принадлежало это чудное здание: все роды древние и новейшие были в нем перемешаны, как языки при вавилонском столпотворении, Низенькие и толстые колонны, похожие на египетские, поддерживали греческой фронтоны; четырехугольные готические башни, прилепленные ко всем углам дома, прорезаны были широкими итальянскими окнами; а из середины кровли подымалась высокая каланча, которую Ижорской называл своим бельведером. С одной стороны примыкал к дому обширный сад с оранжереями, мостиками, прудами, сюрпризами и фонтанами, в которые накачивали воду из двух колодцев, замаскированных деревьями. Внутренность дома не уступала в разнообразии наружности; но всего

любопытнее был кабинет хозяина и его собрание редкостей. Вместе с золотыми, вышедшими из моды табакерками лежали резные берестовые тавлинки; подле серебряных старинных кубков стояли глиняные размалеванные горшки — под именем этрусских ваз; образчики всех руд, малахиты, сердолики, топазы и простые камни лежали рядом; подле чучел белого медведя и пеликана стояли чучелы обыкновенного кота и легавой собаки; за стеклом хранились челюсть слона, мамонтовые кости и лошадиное ребро, которое Ижорской называл человеческим и доказывал им справедливость мнения, что земля была некогда населена великанами. Посреди комнаты стояла большая электрическая машина; все стены были завешаны панцирями, бердышами, копьями и ружьями; а по выдававшемуся вперед карнизу расставлены рядышком чучелы: куликов, петухов, куропаток, галок, грачей и прочих весьма обыкновенных птиц. Глядя на эту коллекцию безвинных жертв, хозяин часто восклицал с гордостью: «Кому другому, а мне Бюффон не надобен. Вот он в лицах!»

Спустя два дня после описанного нами разговора двух сестер, часу в десятом утра, в доме Ижорского шла большая суматоха. Дворецкой бегал из комнаты в комнату, шумел, бранился и щедрой рукой раздавал тузы лакеям и дворовым женщинам, которые подметали пыль, натирали полы и мыли стекла во всем доме. Сам барин, в пунцовом атласном шлафроке, смотрел из окна своего кабинета, как целая барщина занималась уборкой сада. Везде усыпали дорожки, подстригали деревья, фонтаны били колодезною водою; одним словом, все доказывало, что хозяин ожидает к себе необыкновенного гостя. Несколько уже минут он морщился, смотря на работающих.

— Ну так и есть! — сказал он наконец с досадою, — я не вижу и половины мужиков! Эй, Трошка! беги скорей в сад, посмотри: всю ли барщину выгнали на работу? Слуга, спеша исполнить данное ему приказание, бросился опрометью вон из дверей и чуть не сшиб с ног Сурского и Рославлева, которые входили в кабинет.

— А, любезные! милости просим! — закричал Ижорской. — Кстати пожаловали: вы мне пособите! Ум хорошо, а два лучше!

— Да что у тебя такое сегодня? — спросил Сурской.

— Как что? Я получил записку из города: сегодня обедает у меня губернатор.

— Вот что! Да ведь ты хотел принять его запросто?

— Эх, милый! ну, конечно, запросто; а угостить все-таки надобно. Ведь я не кто другой — не Ильменев же в самом деле! Ну что, Трошка?! — спросил он входящего слугу.

— Староста, сударь, выгнал в сад только половину барщины.

— Ах он мерзавец! Да как он смел? Вот я его проучу! Давай его сюда!.. Эка бестия! все умничают! Уж и на прошлой неделе он мне насолил; да счастлив, разбойник!.. Погода была так сыра, что электрическая машина вовсе не действовала.

— Электрическая машина! — повторил с удивлением Сурской.

— Да, братец! Я бить не люблю, и в наш век какой порядочной человек станет драться? У меня вот как провинился кто-нибудь — на машину! Завалил ему ударов пять, шесть, так впредь и будет умнее; оно и памятно и здорово. Чему ж ты смеешься, Сурской? конечно, здорово. Когда еще у меня не было больных и домового лекаря, так я от всех болезней лечил машиною.

— Смотри пожалуй!.. И, верно, многих вылечивал?

— Случалось, братец! Да вот, например, года два тому назад привели ко мне однажды Антона-скотника; взглянуть было жалко! Ревматизм, что ль, подагра ли — право, не знаю; только вовсе обезножил. Вот я навертел, навертел!.. время было сухое — машина так и трещит! Велел ему взяться за цепочку, благословился, да как щелк!.. Гляжу, мужик мой закачался. Я еще... он и с ног долой, Глядь-поглядь — ахти худо! язык отнялся, глаза закатились; ну умер, да и только! Другой бы испугался, а я так нет. Благодарю моего создателя — не сробел! Ну-ка его лежачего удар за ударом. Что ж, сударь? Очнулся! Да как вскочит, батюшка!.. Господи боже мой! откуда ноги взялись.

— Как! побежал?

— Да так, сударь, что и догнать не могли.

— Подлинно диковинка! — сказал Сурской. — И он совсем выздоровел?

— Как же, братец! Как рукой сняло! И теперь еще здоровехонек... А, голубчик! — закричал Ижорской, увидя входящего старосту. — Поди-ка сюда! Так-то ты выполняешь мои приказания? Отчего не вся барщина в саду?

— Виноват, батюшка! — отвечал староста, отвесив низкой поклон. — Я другую половину барщины выслал на вашу же господскую работу.

— На какую работу?

— На сенокос, батюшка!

— На сенокос!.. Нашел время косить, скотина! Ну вот, братец! — продолжал хозяин, обращаясь к Сурскому, — толкуй с этим народом! Ты думаешь о деле, а он косить. Сейчас выслать всю барщину в сад. Слышишь?

— Слушаю, батюшка! Только, воля ваша, если мы едак день за день...

— Прошу покорно!.. Ах ты, дуралей! Что ты, учить, что ль, меня вздумал?..

— Да не сердись на него, — перервал Сурской, — ведь он заботится о твоей же пользе.

— Не его дело рассуждать, в чем моя польза. Ну, что стоишь? Пошел!

Староста, поклонясь в пояс, вышел из комнаты.

— Да что ж, я не дождусь лекаря? — продолжал Ижорской. — Трошка! ступай скажи ему, что я его два часа уж дожидаюсь... А вот и он... Помилуй, батюшка, Сергей Иванович! Тебя не дозовешься.

— Извините! — сказал лекарь, поклонясь Сурскому и Рославлеву, — я позамешкался: осматривал больницу.

— Я за этим-то тебя и спрашивал. Ну что, все ли в порядке?

— Кажется, все.

— Ну, то-то же! О моей больнице много толков было в губернии. Смотри, чтоб нам при его превосходительстве себя лицом в грязь не ударить. Все ли расставлено в порядок и пробрано в аптеке?

— Точно так же, как и всегда, Николай Степанович!

— Как и всегда! Ну, так и есть — я знал! Эх, братец! Ведь я тебе толком говорил: сегодня будет губернатор, так надобно... ну знаешь, любезный!.. товар лицом показать.

— Я вам докладываю, что все в порядке.

— А в больнице? — Окна и полы вымыты, белье чистое...

— А прибиты ли дощечки с надписями ко всем отделениям?

— Хоть это бы и не нужно: у нас больница всего на десять кроватей; но так как вам это угодно, то я прибил места в трех надписи.

— На латинском языке?

— На латинском и русском.

— Хорошо, братец, хорошо! А сколько у нас больных?

— Теперь ни одного.

— Как ни одного? — вскричал с ужасом Ижорской.

— Да, сударь! Третьего дня я выписал последнего больного — Илюшку-кучера.

— Зачем?

— Он выздоровел.

— Да кто тебе сказал, что он выздоровел? с чего ты взял?.. Возможно ли — ни одного больного! Ну вот, господа, заводи больницы!.. ни одного больного!

— Так что ж, мой друг? — сказал Сурской.

— Как что ж? Да слышишь: ни одного больного! Что ж, я буду комнаты одни показывать? Ну, батюшка, Сергей Иванович! дай бог вам здоровья, потеши-ли меня... ни одного больного!

— Помилуйте! что ж мне делать?

— Что делать? А позвольте вас спросить: за что я плачу вам жалованье? Вы получаете тысячу рублей в год, квартиру, стол, экипаж — и ни одного больного! Что это за порядок? На что это походит? Эх! правду говорит сестра: вот вам и русской доктор — ни одного больного! Ах, боже мой! Боже мой! Ну, батюшка, спасибо вам — поднесли мне красное яичко, — ни одного больного! Да, конечно, господин русской доктор, конечно! Во что бы ни стало заведу немца... да, сударь, немца! У него будут больные! Господи боже мой! ни одного больного!.. Смейтесь, господа, смейтесь. Вам что за горе! Не вы станете показывать больницу губернатору.

— А что, Рославлев, — сказал шутя Сурской, — не выкупить ли нам его из беды! Прикинемся-ка больными!

— Эх, братец, что за шутки!

— Какие шутки? Ведь губернатор не станет больных осматривать, только бы постели-то не были пусты.

— А что ты думаешь, любезный! Постой-ка... в самом деле!.. Эй, Трошка! Дворецкого, проворней!

— Что вы хотите делать? — спросил Рославлев.

— Постой, братец, постой!.. авось как-нибудь... Что в самом деле? Не велика фигура полежать денек.

— Как?... вы хотите?..

— Эх, братец, не мешай! Добро, так и быть! ступай домой, Сергей Иванович; да смотри, чтоб вперед этого не было. Теперь у нас будут и без тебя больные. Слушай, Парфен! — продолжал Ижорской, идя навстречу к дворецкому, — у нас теперь в больнице нет никого больных...

— Да, сударь, слава богу!

— Врешь, дурак! осел! слава богу!.. Что, я губернатору-то пустые стены стану показывать? Мне надобно больных — слышишь?

— Слушаю, сударь! Да где ж я их возьму?

— И знать не хочу — чтоб были!

— Слушаю, сударь!

— Да постой-ка, Парфен! Ты что-то больно изменился в лице, — уж здоров ли ты?

— Слава богу-с!

— То-то, смотри, запускать не надобно; видишь, как у тебя глаза ввалились. Эх, Парфен! ты точно разнемогаешься. Не полечиться ли, брат?

— Нет уж, батюшка, Николай Степанович, помилуйте! Авось в дворне и без меня найдутся хворые.

— Да как не быть. Ступай же проворнее.

— А на всякой случай, что прикажете, если охотников не найдется?

— Ну, что тут спрашивать, дурачина! Вышел на улицу, да и хватай первого, кто попадется: в больницу, да и все тут! Что в самом деле, барин я или нет?

— Слушаю, сударь! Да не прикажете ли лучше нарядить с семьи по брату?

— И то дело! Смотри, отбери тех, которые поще-душнее: Правда, в отделение водяной болезни надобно кого-нибудь потолще да подюжее!..

— Позвольте! Я уговорю нашего пономаря: ведь он распретолстый-толстый; а рожа-то так и расплылась.

— В самом деле, уговори его, братец.

— Дать ему рубли полтора, так он целые сутки пролежит как убитый.

— Брось ему целковый. Да нет ли у тебя на примете кого-нибудь этак похуже, чтоб, знаешь, годился для чахотного отделения?

— Похуже?.. Постойте-ка, сударь! Да чего ж лучше? Сапожник Андрюшка. Сухарь! Уж худощавее его не найдешь во всем селе: одни кости да кожа.

— Точно, точно! Ай да Парфен! спасибо, брат! Ну, ступай же поскорей. Двое больных есть, а остальных подберешь. Да строго накажи им, как придут осматривать больницу, чтоб все лежали смирно.

— Слушаю, сударь!

— Не шевелились, колпаков не снимали и погромче охали.

— Слушаю, сударь!

— Ну, ступай! Ты смеешься, Сурской. Я и сам знаю, что смешно: да что ж делать? Ведь надобно ж чем-нибудь похвастаться. У соседа Буркина конный завод не хуже моего: у княгини Зориной оранжереи больше моих; а есть ли у кого больница? Ну-тка, приятель, скажи? К тому ж это и в моде... Нет, не в моде...

— Вы хотите сказать: в духе времени, — перервал Рославлев.

— Да, в духе времени. Это уж, братец, не экономическое заведение, а как бишь, постой...

— Человеколюбивое, — сказал Сурской.

— Да, да! человеколюбивое! а эти заведения нынче в ходу, любезный. Почему знать?.. От губернатора пойдет и выше, а там... Да что загадывать; что будет, то и будет... Ну, теперь рассуди милостиво! Если б я стал показывать пустую больницу, кого бы удивил? Ведь дом всякой выстроить может, а надпись сделать не фигура.

— Да у тебя, как я вижу, большие планы, любезный! — сказал с улыбкою Сурской. — Ты хочешь прослыть филантропом.

— Полно, брат! по-латыни-та говорить! Не об этом речь: я слыву хлебосолом, и надобно сегодня поддержать мою славу. Да что наши дамы не едут? Я разослал ко всем соседям приглашения: того и гляди, станут наезжать гости; одному мне не управиться, так сестра бы у меня похозяйничала. А уж на будущей неделе я стал бы у нее хозяйничать, — прибавил Ижорской, потрепав по плечу Рославлева. — Что, брат, дождался, наконец? Ведь свадьба твоя решительно в воскресенье?

— Да, Полина согласилась не откладывать далее моего счастья. — Порядком же она тебя помаила. Да и ты, брат! — не погневайся — зевака. Известное дело, невеста сама наскажет: пора-де под венец! Повернул бы покруче, так дело давно бы было в шляпе. Да вот, никак, они едут. Ну что стоишь, Владимир? Ступай, братец! вынимай из кареты свою невесту.

Хотя здоровье Оленьки не совсем еще поправилось, но она выходила уже из комнаты, и потому Лидина приехала к Ижорскому с обеими дочерьми. При первом взгляде на свою невесту Рославлев заметил, что она очень расстроена.

— Что с вами сделалось, Полина? — спросил он. — Здоровы ли вы?

— *C'est une folle!* (Это сумасшедшая! (фр.)) — сказала Лидина. — Представьте себе, я сейчас получила письмо из Москвы от кузины; она пишет ко мне, что говорят о войне с французами. И как вы думаете? ей пришло в голову, что вы пойдёте опять в военную службу. Успокойте ее, бога ради!

— Я надеюсь, — отвечал Рославлев, — что Наполеон не решится идти в Россию; и в таком случае даю вам честное слово, что не надену опять мундира. — А если он решится на это?

— Тогда эта война делается народною, и каждый русской обязан будет защищать свое отечество. Ваша собственная безопасность...

— О, обо мне не беспокойтесь! Мы уедем в наши тамбовские деревни. Россия велика; а сверх того, разве Наполеон не был в Германии и Италии? Войска дерутся, а жителям какое до этого дело? Неужели мы будем перенимать у этих варваров — испанцев?

— Но наша национальная честь, сударыня... наша слава?

— И полноте! Вы и в каком случае не пойдете в военную службу.

— Даже и тогда, когда вся Россия вооружится?

— Даже и тогда. Послушайте! Если вы хотите жениться на будущей неделе, то и не думайте о службе; в противном случае оставайтесь женихом до окончания войны. Я не хочу, чтоб Полина рисковала сделаться вдовою или, что еще хуже, чтоб муж ее воротился без руки или ноги... Но вот брат; перестанемте говорить об этом. Вы знаете теперь, чего я требую, и будьте уверены, что ни за что не переменю моего решения. *Quelle folie!* (Какое

безумие! (фр.)) Во Франции женятся для того, чтоб не попасть в конскрипты (рекруты.), а вы накануне вашей свадьбы хотите идти в военную службу.

— Насилу ты, сестра, приехала! — закричал Ижорской, идя навстречу к Лидиной. — Ступай, матушка, в гостиную хозяйничать, вон кто-то уж едет.

— Что за экипаж! — сказала Лидина. — Неужели это карета?

— Не погневайтесь, сударыня! домашней работы. Это едет Ладушкин. — Ах, боже мой!.. и в восемь лошадей!

— Разумеется, он человек расчетливый: ведь они будут целый день на чужом корму.

— А это кто? посмотрите справа стороны — как будто б в дилижансе?

— Это катит в своей восьмиместной линейке княгиня Зорина со всем семейством.

— Какой ридикюльный (смешной (от фр. ridicule)) экипаж!

— Не щеголеват, да покоен, матушка. А вон, никак, летит на удалой тройке сосед Буркин. Экие кони!.. Ну, нечего сказать, славный завод! И откуда, разбойник, достал маток? Все чистой арабской породы! Вот еще кто-то... однако мне пора приодеться; а вы, барыни, ступайте-ка в гостиную да принимайте гостей.

Рославлев взял под руку Сурского и, отведя его к стороне, рассказал ему свой разговор с Лидиной.

— Что ж ты намерен делать? — спросил Сурской, помолчав несколько времени.

— А что сделаете вы, если у нас будет народная война?

— Я не жених, мой друг! Мое положение совершенно не сходно с твоим.

— Однако ж что вы сделаете?

— Сниму со стены мою заржавленную саблю и пойду драться.

— И после этого вы можете меня спрашивать!.. Когда вы, прослужив сорок лет с честью, отдав вполне свой долг отечеству, готовы снова приняться за оружие, то может ли молодой человек, как я, оставаться простым зрителем этой отчаянной и, может быть, последней борьбы русских с целой Европою? Нет, Федор Андреевич, если б я навсегда должен был отказаться от Полины, то и тогда пошел бы служить; а постарался бы только, чтоб меня убили на первом сражении.

— Я не сомневался в этом, — сказал Сурской, пожав руку Рославлеву. — Да, мой друг! всякая частная любовь должна умолкнуть перед этой общей и священной любовью к отечеству!

— Но, может быть, это одни пустые слухи, и войны не будет.

— Нет, мой друг! — сказал Сурской, покачивая сомнительно головою, — мы дошли до такого положения, что даже не должны желать мира. Наполеон не может иметь друзей: ему нужны одни рабы; а благодаря бога наш царь не захочет быть ничьим рабом; он

чувствует собственное свое достоинство и не посрамит чести великой нации, которая при первом его слове двинется вся навстречу врагам. У нас нет крепостей, но русские груди стоят их. Я также получил письмо из Москвы, и хотя война еще не объявлена, а вряд ли уже мы не деремся с французами.

Широкоплечий, вершков десяти ростом, господин в коричневом длинном фраке, из кармана которого торчал чубук с янтарным мундштуком, войдя в комнату, перервал разговор наших приятелей.

— Здравствуйте, батюшка Федор Андреевич! — заревел он толстым басом. — Бог вам судья! Я неделю провалялся в постеле, а вы, нет чтоб проведать, жив ли, дискать, мой сосед Буркин.

— Я, право, не знал, чтобы вы были нездоровы, — сказал Сурской.

— Да, сударь, чуть было не прыгнул в Елисейские. Вы знаете моего персидского жеребца, Султана? Я стал показывать конюху, как его выводить, — черт знает что с ним сделалось! Заиграл, да как хлысть меня под самое дыханье! Поверите ль, света божьего неувидел! Как меня подняли, как раздели, как Сенька-коновал пустил мне кровь, ничего не помню! Насилу на другой день очнулся.

— Напрасно вы так неосторожны.

— И, батюшка, на грех мастера нет! Как убережешься? Да вот спросите Владимира Сергеевича: он был кавалеристом, так знает, как обращаться с лошадьми, а верно, и его бивали — нельзя без этого. Да кстати, Владимир Сергеевич!.. взгляните-ка на мою тройку; едь вы знаток.

— Позвольте мне после ею полюбоваться. Хозяин просил меня принимать гостей, а вот, кажется, приехал Ладушкин.

— И ее сиятельство княгиня Зорина. За версту узнаю ее шестерню. Охота же кормить овсом таких одров! Эки клячи — одна другой хуже!

Часа через два весь двор Николая Степановича Ижорского наполнился дормезами (доряжными каретами (фр.)), откидными кибиточками, линеями, таратайками и каретами, из которых многие, по древности своей, могли бы служить украшением собранию редкостей хозяина. В ожидании обеда дамы чиннехонько сидели на канапе в гостиной, разговаривали меж собою вполголоса, бранили отсутствующих и, стараясь перенимать парижские манеры Лидиной, потихоньку насмехались над нею. Барышни прогуливались по саду; одни говорили о новых московских модах, другие расспрашивали Полину и Оленьку о Франции и, желая показать себя перед парижанками, коверкали без милосердия несчастный французской язык. В числе этих гостей первое место занимали две институтки, милые, образованные девицы, с которыми Лидины были очень дружны, и

княжны Зорины, три взрослые невесты, страстные любительницы изящных художеств. Старшая не могла говорить без восторга о живописи, потому что сама копировала головки en pastel (пастелью (фр.)); средняя, приходила почти в исступление при имени Моцарта, потому что разыгрывала на фортепианах его увертюры; а меньшая, которой удалось взять три урока у знаменитой певицы Мары, до того была чувствительна к собственному своему голосу, что не могла никогда промяукать до конца «*ombra a dorata*» («возлюбленная тень» (ит.)) без того, чтоб с ней не сделалось дурно. Эти три сестры, кото-рых и в стихах нельзя было назвать тремя грациями, прогуливались вместе и поодаль от других. Сделав несколько замечаний насчет украшений сада, посмеясь над деревянным раскрашенным китайцем, который с огромным зонтиком стоял посреди одной куртины, и над алебастровой короною, которая паслась на небольшом лугу, они сели на скамейку против террасы дома, уставленной померанцевыми деревьями. В эту самую минуту сошел с нее Рославлев.

— Как смешон этот жених! — сказала средняя сестра. — Он только и видит свою невесту. Неужели он в самом деле влюблен в нее? Какой странный вкус!

— Il est pourtant bel homme! (Он, однако, красивый мужчина! (фр.)) — возразила старшая.

— Посмотрите, какой греческой профиль, какая правильная фигура, как все позы его грациозны!..

— Да, он недурен собою, — прибавила меньшая княжна. — Заметили ль, какой у него густой и приятный орган? Я уверена, у него должен быть или бас, или баритон, и если он поет «*ombra adorata*»...

— Я слышала, что он играет хорошо на скрипке, — перервала средняя, — и признаюсь, желала бы испытать, может ли он аккомпанировать музыку Моцарта.

— У него тысяча душ, — сказала старшая.

— Et il est maitre de sa fortune! (И он хозяин своего состояния! (фр.)) — прибавила средняя.

— Для чего маменька не пригласит его на наши музыкальные вечера? — примолвила меньшая. — Ему должно быть здесь очень скучно.

— Разумеется, — подхватила старшая. — Эта Лидина нагонит на всякого тоску своим Парижем; брат ее так глуп! Оленька хорошая хозяйка, и больше ничего; Полина...

— О, Полина должна быть для него божеством! — перервала меньшая.

— Не верю, — продолжала старшая, — его завели, и что тут удивительного? В деревне, каждый день вместе...

— Конечно, конечно, — подхватила меньшая. — Ах, как чудна маменька! Почему она не хочет знакомиться с своими соседями?

— Посмотрите, — шепнула старшая, — он на нас глядит. — Бедняжка! не смеет подойти. О! да эта сентиментальная Полина преревнивая!

— И пренесносная! Вечно грустит, а бог знает о чем?

— Хочет казаться интересною.

— Ах, боже мой, вот еще какие претензии!

Совсем другого рода шли разговоры в столовой, где мужчины толпились вокруг сытного завтрака. Буркин, выпив четвертую рюмку зорной водки, рассказывал со всеми подробностями, как персидской жеребец отшиб у него память. Ладушкин, Ильменев и несколько других второстепенных помещиков молча трудились кругом жирного окорока и доканчивали вторую бутылку мадеры. В одном углу Сурской говорил с дворянским предводителем о политике; в другом — несколько страстных псовых охотников разговаривали об отъезжих полях, хвастались друг перед другом подвигами своих борзых собак и лгали без всякого зазрения совести. Но хозяину было не до разговоров: он горел как на огне; давно уже пробило два часа, а губернатор не ехал; вот кукушка в лакейской прокуковала три раза; вот, наконец, в столовой часы с курантами проиграли «выду я на реченьку» и колокольчик прозвенел четыре раза, а об губернаторе и слуха не было.

— Что ж это в самом деле? — сказал хозяин, когда еще прошло полчаса, — его превосходительство шутит, что ль? Ведь я не навязывался к нему с моим обедом.

— Николай Степанович! — сказал дворецкой, войдя торопливо в столовую, — кто-то скачет по большой дороге.

— Слава тебе господи, насили! Скорей кушать! Да готовы ли музыканты? Лишь только губернатор из кареты, тотчас и начинать «гром победы раздавайся!». Иль нет... лучше марш...

— Да это едет кто-то в тележке, сударь, а не в карете.

— Как в тележке? Э, дурак! что ж ты прибежал как шальной!.. Так это не губернатор... постой-ка... кажется... так и есть — наш исправник. Проси его скорей сюда: он, верно, прислан от его превосходительства.

Через минуту вошел небольшого роста мужчина с огромными рыжими бакенбардами, в губернском мундире военного покроя, подпоясанный широкой португеею, к которой прицеплена была сабля с серебряным темляком. Не кланяясь никому, он подошел прямо к хозяину и сказал:

— Его превосходительство изволил прислать меня...

— Ну что, Иван Пахомыч, — перервал Ижорской, — скоро ли он будет?

— Его превосходительство изволил прислать меня...

— Да говори скорей, едет он или нет?

— Сейчас доложу. Его превосходительство изволил прислать меня уведомить вас, что он, по встретившимся обстоятельствам...

— Не может у меня обедать?

— Позвольте!.. Его превосходительство изволил прислать меня...

— Да тьфу, пропасть! говори без околичностей, будет он или нет?

— Сейчас... Изволил прислать меня, уведомить вас, что по встретившимся обстоятельствам он не может сегодня у вас кушать.

— Отчего?.. Почему?..

— Он получил сейчас важные депеши и отправился немедля в губернский город.

— Как! не пообедавши?

— Точно так-с.

— Ай, ай, ай! что такое?.. Видно, дело не шуточное?

Исправник пожал плечами, наморщил лоб и, погладив с важностию свои бакенбарды, сказал протяжно и значительным голосом: «Да-с». Все гости с приметным любопытством окружили исправника.

— Не знаете ли вы, что такое? — спросил Сурской.

— Формально доложить не могу, — отвечал исправник, — а кажется, большая экстра.

— Да когда он получил эти бумаги? — спросил предводитель.

— Аккурат в три часа.

— И вам неизвестно их содержание?

— Почему ж мне знать-с? — отвечал исправник с улыбкою, которая доказывала совершенно противное.

— Полно, любезный, секретничать!.. — заревел Буркин. — Как тебе не знать? Ты детина пролаз — все знаешь.

— Помилуйте-с! наше дело исполнять предписания вышнего начальства, а в государственные дела мы не мешаемся. Конечно, секретарь его превосходительства мне с руки; но, осмелюсь доложить, если б я что-нибудь и знал, то и в таком случае служба... долг присяги...

— Что вы с ним хлопчете, господа? — перервал Ижорской. — Я знаю этого молодца: натошак от него толку не добьешься. Пойдемте-ка обедать, авось за рюмкою шампанского он выболтает нам свою государственную тайну. Эй, малый! ступай в сад, проси барышень к столу. Водки! Господа, милости просим!

Хозяин повел княгиню Зорину; прочие мужчины повели также дам к столу, который был накрыт в длинной галерее, увешанной картинами знаменитых живописцев, — так, по крайней мере, уверял хозяин, и большая часть соседей верили ему на честное слово; а

некоторые знатоки, в том числе княжны Зорины, не смели сомневаться в этом, потому что на всех рамах написаны были четкими буквами имена: Греза, Ван-дика, Рембрандта, Албана, Корреджия, Салватор Розы и других известных художников. Гости сели; оркестр грянул «гром победы раздавайся!» — и две огромные кулебяки развлекли на несколько минут внимание гостей, устремленное на великолепное зеркальное плато, края которого были уставлены фарфоровыми китайскими куклами, а середина занята горкою, слепою из раковин и изрытою небольшими впадинами; в каждой из них поставлен был или фарфоровый пастушок в французском кафтане; с флейтою в руках, или пастушка в фижмах, с овечкою у ног. Многим из гостей чрезвычайно понравился этот образчик Швейцарии; но появление янтарной ухи из аршинной стерляди, а вслед за ней двухаршинного осетра под соусом сосредоточило на себе все удивление пирующих. Деревенские гастрономы ахнули. Отрывок альпийской горы, зеркальное море, саксонские куклы, китайские уродцы — все было забыто; разговоры прекратились, и тихой ангел приосенил своими крыльями все общество.

Пользуясь правом жениха, Рославлев сидел за столом подле своей невесты; он мог говорить с нею свободно, не опасаясь нескромного любопытства соседей, потому что с одной стороны подле них сидел Сурской, а с другой Оленька. В то время как все, или почти все, заняты были едою, этим важным и едва ли ни главнейшим делом большей части деревенских помещиков, Рославлев спросил Полину: согласна ли она с мнением своей матери, что он не должен ни в каком случае вступать снова в военную службу? — Вы знаете, чего от вас требует маменька, — отвечала Полина.

— Но я желал бы также знать, что думаете вы?

— Я обязана ей повиноваться.

— Но скажите, что должен я делать?

— Вам ли меня об этом спрашивать, Волдемар! Что могу сказать я, когда собственное сердце ваше молчит?

— Итак, я должен оставаться хладнокровным свидетелем ужасных бедствий, которые грозят нашему отечеству; должен жить спокойно в то время, когда кровь всех русских будет литься не за славу, не за величие, но за существование нашей родины; когда, может быть, отец станет сражаться рядом с своим сыном и дед умирать подле своего внука. Нет, Полина! или я совсем вас не знаю, или любовь ваша должна превратиться в презрение к человеку, который в эту решительную минуту будет думать только о собственном своем счастье и о личной своей безопасности.

— Но зачем тревожить себя заранее этой мыслию? — сказала Полина после короткого молчания. — Быть может, это одни пустые слухи.

— Может быть! Но по всему кажется, что эта война неизбежна.

— Война! — повторила Полина, покачав печально головою. — Ах! когда люди станут думать, что они все братья, что слава, честь, лавры, все эти пустые слова не стоят и одной капли человеческой крови. Война! Боже мой!.. И, верно, эта война будет самая бесчеловечная?..

— О! что касается до этого, — отвечал Рославлев, — то французы должны пенять на самих себя: они заставили себя ненавидеть, а ненависть не знает сострадания и жалости. Испанцы доказали это.

— Но неужели и русские так же, как испанцы, не станут щадить никого?.. Будут резать беззащитных пленных? — спросила с приметным беспокойством Полина.

— Кто может предугадать, — отвечал Рославлев, — до чего дойдет ожесточение русских, когда в глазах народа убийство и мщение превратятся в добродетели, и всякое сожаление к французам будет казаться предательством и изменою. Когда война становится национальною, то все права народные теряют свою силу. Стараться истреблять всеми способами неприятеля, убивать до тех пор, пока не убьют самого, — вот в чем состоит народная война и вот чего добиваются Наполеон и его французы. Переступив однажды за нашу границу, они не должны уже и думать о мире. Да, Полина, в этой войне середины быть не может; они должны или превратить всю Россию в обширное кладбище, или все погибнуть.

Полина побледнела.

— Это ужасно! — сказала она. — Несчастные! но виноваты ли они?.. Все погибнут!.. Боже мой!.. Если...

Оленька схватила за руку сестру свою; она замолчала, опустила глаза книзу, и бледные щеки ее запылали.

— Э, племянничек! — закричал Ижорской, — говорить-то с невестою можно, а есть все-таки надобно. Что ж ты, Поленька! ведь этак жених твой умрет голодной смертью. Да возьми, братец! ведь это дупельшнепы! Эй, шампанского! Здоровье его превосходительства, нашего гражданского губернатора. Туш! Трубачи протрубили, шампанское обнесли.

— Здоровье хозяина! — закричал Буркин, и снова затрещало в ушах у бедных дам. Трубачи дули, мужчины пили; и как дело дошло до домашних наливок, то разговоры сделались до того шумны, что почти никто уже не понимал друг друга. Наконец, когда обнесли двенадцатую тарелку с сахарным вареньем, хозяин привстал и, совершенно уверенный, что говорит неправду, сказал:

— Не осудите, дорогие гости, если встаете голодные из-за стола, не прогневайтесь! Чем богаты, тем и рады!

Все поднялись в одно время. Мужчины отвели прежним порядком дам в гостиную; а сами, выпив по чашке кофе, отправились вместе с хозяином осматривать его оранжереи, конский завод, псарню и больницу.

ГЛАВА II

Сурской и Рославлев, обойдя с другими гостями все оранжереи и не желая осматривать прочие заведения хозяина, остались в саду. Пройдя несколько времени молча по крытой липовой аллее, Сурской заметил наконец Рославлеву, что он вовсе не походит на жениха.

— Ты так грустен и задумчив, — сказал он, — что как будто бы в самом деле должен сегодня же, и навсегда, расстаться с твоей невестой.

— Почему знать? — отвечал со вздохом Рославлев, — По крайней мере, я почти уверен, что долго еще не буду ее мужем. Скажите, могу ли я обещать, что не пойду служить даже и тогда, когда французы внесут войну в сердце России?

— Нет, не можешь; но почему ты уверен, что Наполеон решится...

— На что не решится этот баловень фортуны, этот надменный завоеватель, ослепленный собственной своей славой? Куда ни пойдут за ним французы, привыкшие видеть в нем свое второе провидение? Французы!.. Я знаю человека, которого ненависть к французам казалась мне отвратительною: теперь я начинаю понимать его.

— Не верю, мой друг! ты это говоришь в минуту досады. Просвещенный человек и христианин не должен и не может ненавидеть никого. Как русской, ты станешь драться до последней капли крови с врагами нашего отечества, как верноподданный — умрешь, защищая своего государя; но если безоружный неприятель будет иметь нужду в твоей помощи, то кто бы он ни был, он, верно, найдет в тебе человека, для которого сострадание никогда не было чуждой добродетелью. Простой народ почти везде одинаков; но французы называют нас всех варварами. Постараемся же доказать им не фразами — на словах они нас загоняют, — а на самом деле, что они ошибаются.

— Но можно ли смотреть хладнокровно на эту нацию?..

— Можно, мой друг, тому, кто знает ее больше, чем ты. Во-первых, тот, кто не был сам во Франции, едва ли имеет право судить о французах. Никто не может быть милее, любезнее, вежливее француза, когда он дома; но лишь только он переступил за границу своего отечества, то становится совершенно другим человеком. Он смотрит на все с презрением; все то, что не походит на обычаи и нравы его родины, кажется ему варварством, невежеством и безвкусицей. Но и в этом смешном желании уверять весь мир, что в одной

только Франции могут жить порядочные люди, я вижу чувство благородное. Известное слово одного француза, который на вопрос, какой он нации, отвечал, что имеет честь быть французом, — не самохвальство, а самое истинное выражение чувств каждого из его соотечественников; и если это порок, то, признаюсь, от всей души желаю, чтоб многие из нас, рабски перенимая все иностранные моды и обычай, заразились бы наконец и этим иноземным пороком.

— Но согласитесь, что чванство, самонадеянность и гордость французов невыносимы.

— Что ж делать, мой друг? Все народы имеют свои национальные слабости; и если говорить правду, то подчас наша скромность, право, не лучше французского самохвальства. Они потеряют сражение, и каждый из них будет стараться уверить и других и самого себя, что оно не проиграно; нам удастся разбить неприятеля, и тот же час найдутся охотники доказывать, что мы или не остались победителями, или, по крайней мере, победа наша весьма сомнительна. Да вот, например, если у нас будет война и бог поможет нам не только отразить, но истребить французскую армию, если из этого ополчения всей Европы уцелеют только несколько тысяч... Но что я говорю? если одна только рота французских солдат выйдет из России, то и тогда французы станут говорить и печатать, что эта горсть бесстрашных, этот священный легион не бежал, а спокойно отступил на зимние квартиры и что во время бессмертной своей ретирады (отступления (фр.)) беспрестанно бил большую русскую армию; и нет сомнения, что в этом хвастовстве им помогут русские, которые станут повторять вслед за ними, что климат, недостаток, стечение различных обстоятельств, одним словом, все, исключая русских штыков, заставило отступить французскую армию.

— Перестаньте! Я не хочу верить, чтоб нашлись между русскими такие презрительные, низкие души...

— Но эти же самые русские, мой друг, станут драться, как львы, защищая свою родину. Все это в порядке вещей, и мы не должны сердиться ни на французов за их хвастовство, ни на русских за их несправедливость к самим себе. Беспрерывный ряд побед, двадцать пять лет колоссальной славы... о мой друг! от этого закружатся и не французские головы! А мы... нас также можно извинить. Вот изволишь видеть: по мнению моему, история просвещения всех народов разделяется на три эпохи. В первую, то есть эпоху варварства, мы не только чуждаемся всех иностранцев, но даже презираем их. Иноземец, в глазах наших, почти не человек; он должен считать за милость, если мы дозволяем ему жить между нами и обогащать нас своими познаниями. Мало-помалу, привыкая думать, что эти пришлецы созданы так же, как и мы, по образу и по подобию божию, мы постепенно доходим до того, что начинаем перенимать не только их познания, но даже и обычаи; и

тогда наступает для нас вторая эпоха. Презрение к иностранцам превращается в безусловное уважение; мы видим в каждом из них своего учителя и наставника; все чужеземное кажется нам прекрасным, все свое — дурным. Мы думаем, что только одно рабское подражание может нас сблизить с просвещенными народами, и если в это время между нас родится гений, то не мы, а разве иностранцы отдадут ему справедливость: это эпоха полупросвещения. Наконец, век скороспелок и обезьянства проходит. Плод многих годов, бесчисленных опытов — прекрасный плод не награжденных ни славою, ни почестями бескорыстных трудов великих гениев — созревает; истинное просвещение разливается по всей стране; мы не презираем и не боготворим иностранцев; мы сравнивались с ними; не желаем уже знать кое-как все, а стараемся изучить хорошо то, что знаем; народный характер и физиономия образуются, мы начинаем любить свой язык, уважать отечественные таланты и дорожить своей национальной славою. Это третья и последняя эпоха народного просвещения. Для большей части русских первая, кажется, миновалась; но последняя, по крайней мере для многих, еще не наступила.

— Но разве это может служить оправданием для тех, которые злословят свое отечество?

— А как же, мой друг? Беспристрастие есть добродетель людей истинно просвещенных; и вот почему некоторые русские, желающие казаться просвещенными, стараются всячески унижать все отечественное, и чтоб доказать свое европейское беспристрастие, готовы спорить с иностранцем, если он вздумает похвалить что-нибудь русское. Конечно, для чести нашей нации не мешало бы этих господ, как запрещенный товар, не выпускать за границу; но сердиться на них не должно. Они срамят себя в глазах иностранцев и позорят свою родину не потому, что не любят ее, а для того только, чтоб казаться беспристрастными и, следовательно, просвещенными людьми. Вот, с месяц тому назад я был вместе с соседом нашим Ильменевым у Волгиных, которые на несколько недель приезжали в свою деревню из Москвы; с первого взгляда мне очень понравился их единственный сын, ребенок лет двенадцати, — и подлинно необыкновенный ум и доброта отпечатаны на его миловидном лице; но чрез несколько минут это первое впечатление уступило место чувству совершенно противоположному. Этот мальчишка умничал, мешался преважно в разговоры, находил, что в деревне все дурно, что мужики так глупы, и, желая казаться совершенным человеком, так часто кричал и шумел на людей без всякой причины, подражая своему папеньке, который иногда журил их за дело, что под конец мне стало гадко на него смотреть. Я сказал об этом Ильменеву, который отвечал мне весьма хладнокровно: «И, сударь, что еще на нем взыскивать: глупенок, батюшка, — дитя! как подрастет, так поумнеет». Как ты думаешь, Рославлев? не лучше ли и нам не сердиться на наших полупросвещенных умниц, а говорить про себя: «Что еще на них взыскивать —

дети! как подрастут, так поумнеют!» Но вот, кажется, идет хозяин. Что такое? Посмотри-ка, на нем лица нет. Что с тобой сделалось, мой друг? — продолжал Сурской, идя к нему навстречу.

— Что сделалось? — повторил глухим голосом Ижорской. — Ничего... Осрамили, зарезали, живого в гроб положили, вот и все!..

— Как?

— Да так... Ух, батюшки!.. Дайте дух перевести!.. Дурачье! животные! разбойники!..

— Ты пугаешь меня. Да что сделалось?

— Безделица!.. Все труды, заботы, расходы, все пошло к черту!.. Да уж я же его! И что он за доктор?.. Цирюльник!.. Нынче же с двора долой!

— Ага! так дело идет о твоей больнице.

— О больнице? О какой больнице? У меня нет больницы!.. Завтра же велю сломать эту проклятую больницу, чтоб и праху ее не осталось.

— Помилуйте! за что такой гнев?

— Что, братец, сняли голову с плеч, да и только. Представь себе: я повел гостей осматривать мои заведения; дело дошло и до больницы. Вот вошли сначала в аптеку; гости ахнули!.. что за порядок!.. банка к банке, склянка к склянке — ну любо-дорого смотреть! Предводитель так и рассыпался: и благодетель-то я нашего уезда, и просвещенный помещик, и какую честь делает всей губернии это заведение, и прочее. Я кланяюсь, благодарю и думаю про себя: «Погоди, приятель! как взглянешь на больницу, так не то еще заговоришь». Вот вошли; коридор чистый, светлый, нечего сказать — славно! «Отделение хронических болезней! — прокричал лекарь. — Камера номер первый — водяная болезнь». Растворяю дверь — глядь на постелю: ахти!.. так меня и обдало морозом — тщедушный Андрюшка-сухарь! Я поскорей вон да в другие двери. Предводитель читает надпись: «Камера вторая — чахотка». Вхожу; все за мной. Ну!!! ноги подкосились! Боже мой!.. толстый пономарь!.. «Давно ли у тебя чахотка?» — спросил, улыбаясь, предводитель. «Около года, сударь!» — отвечал пономарь. «Оно и заметно — заревел дурачина Буркин. — Смотри-ка, сердечный, как ты зачах!» Зачах!.. а рожка-то у него, братец, с пивной котел! Предводитель прыснул, гости померли со смеху, а я уж и сам не помню, как бросился вон из дверей, как ударился лбом о притолку, как наткнулся теперь на вас — ничего не знаю!

— Помилуй, братец, что ж это за беда?

— Как что за беда? Да как мне теперь глаза показать?.. Ну если догадаться?..

— И, мой друг, кому придет в голову, что у тебя больные по наряду? Перемешали надписи, вот и все тут.

— Так ты думаешь, что я могу сказать?..

— Разумеется. Долго ли вместо одной дощечки прибить другую. Да вот, кстати, все гости идут сюда; ступай к ним навстречу, скажи, что это ошибка, и, чтоб они перестали смеяться, начни хохотать громче их.

Ижорской, успокоенный этими словами, пошел навстречу к гостям и, поговорив с ними, повел их в большую китайскую беседку, в которой приготовлены были трубки и пунш. Один только исправник отделился от толпы и, подойдя к Рославлеву, сказал:

— Извините, Владимир Сергеевич, совсем из ума вон. Ведь у меня есть к вам письмо.

— От кого? — спросил Рославлев.

— Не могу доложить. Оно пришло по почте. Я знал, что найду вас здесь, так захватил его с собою. Вот оно.

— От Зарецкого! — вскричал Рославлев, взглянув на адрес. — Как я рад! Исправник отправился вслед за другими гостями в беседку, а Рославлев, распечатав письмо, начал читать следующее: «Ну, мой друг, отгадывай, что я? где я? и что делал сегодня поутру? Да что тебя мучить по-пустому: век не отгадаешь. Я гусарской ротмистр, стою теперь на биваках, недалеко от Белостока, и сегодня поутру дрался с французами. Не ахай, не удивляйся, а слушай: я расскажу тебе все по порядку. Прощаясь с тобой, я уже намекал тебе, что мне становится скучно жить в Петербурге. Когда ты уехал, мне стало еще скучнее. Ты знаешь, я долго размышлять не люблю; задумал, решил, надел мундир; тетушка благословила меня образом, а кузины... ведь я отгадал, *mon cher*! ни одна из них не заплакала, прощаясь со мною. Я прискакал в Вильну, нашел там почти всех наших сослуживцев. Нам давали балы, мы веселились; но и среди танцев горели нетерпением встретить скорее гостей, которые стояли за Неманом, церемонились и как будто бы дожидались приглашения. Наконец 12-го числа июня они переправились на нашу сторону, и пошла потеха — только не для нас, а для одних казаков. Я выпросился в авангард, который стал теперь арьергардом, потому что наши войска ретируются. Одни говорят, для того, чтоб соединиться с молдавской армией, которая спешит нам навстречу; другие — чтоб заманить Наполеона поглубже в Россию и угостить его точно так же, как, блаженной памяти, шведского короля под Полтавою. Не знаю, чему верить, но не сомневаюсь в одном — *pous reculons pour mieux sauter* (мы отступаем, чтобы лучше наступать (фр.)). Кажется, неприятель втрое нас сильнее; только мы дома, а он на чужой стороне. Франция далеко, а немцам любить его не за что. Все это должно ободрять нас; однако же я думаю, что без народной войны дело не обойдется. Тебе кланяется твой бывший начальник, генерал Б. У него недостает одного адъютанта, но он не торопится заместить эту ваканцию и просил меня об этом тебя уведомить. Послушай, Рославлев! Я никогда не

хвастался моим патриотизмом; всегда любил и даже теперь люблю французов, а уж успел с ними подраться. Ты зарекся говорить по-французски, бредишь всем русским — и ходишь еще во фраке. Женат ли ты или нет, все равно. Если ты только здоров, скачи к нам на курьерских; если болен, ступай на долгих; если умираешь, то вели, по крайней мере, похоронить себя в мундире. Да, мой друг, эта война не походит на прежние; дело идет о том, чтоб решить навсегда: есть ли в Европе русское царство или нет? Сегодня чем свет французская военная музыка играла так близко от наших биваков, что я подлаживал ей на моем флажолете (старинной флейте (от фр. *le flageolet*)); а около двенадцатого часа у нас завязалось жаркое аванпостное дело. Мы потихоньку подвигались назад; французы лезли вперед, и надобно сказать правду — молодцы, славно дерутся! Один из них с эскадроном



конных егерей врезался в самую средину наших казаков; но я подоспел с гусарами. Конным егерям отпели вечную память, а начальника их мне удалось своими руками взять в плен, или, лучше сказать, спасти от смерти, потому что он не сдавался и дрался как отчаянной. Теперь он в моем шалаше спит крепким сном. Что за молодец, братец! Ему нет тридцати лет, а он уж полковник; а как любезен, какой хороший тон! Впрочем, это нимало не удивительно: *ce n'est pas un officier de fortune* (он ведь офицер не по капризу судьбы (фр.)). Фамилия его одна из самых древних во Франции. Он граф Адольф Сеникур. Завтра чем свет его отправляют, вместе с другими пленными, в средину России, и поверишь ли? он так

обворожил меня своею любезностию, что мне грустно будет с ним расстаться. Прощай, мой друг!.. или нет: до свиданья! Я уверен, что ты, прочитав мое письмо, велишь укладывать свой чемодан, пошлешь за курьерскими — и если какая-нибудь французская пуля не вычеркнет меня из списков, то я скоро угощу тебя на моем биваке и пуншем и музыкою. Да, мой друг! и музыкою. От нечего делать я так набил руку на моем флажолете, что и сам себе надивиться не могу. Итак, до свиданья!

Твой друг, Александр Зарецкой. Июня 19-го. Бивак близ Белостока».

— Итак, все кончено! — вскричал Рославлев. — Я должен расстаться с Полиною, и, может быть, — навсегда!

— Уж и навсегда, мой друг? — сказал Сурской. — Конечно, за жизнь военного человека ручаться нельзя; но почему же думать, что непременно ты?..

— Ах, я ничего не думаю! В голове моей нет ни одной мысли; а здесь, — продолжал Рославлев, положив руку на грудь, — здесь все замерло. Так! если верить предчувствиям, то в здешнем мире я никогда не назову Полину моею. Я должен расстаться и с вами... — Ненадолго, мой друг! мы скоро увидимся. Но вот, кажется, Лидина с дочерьми. Они идут сюда. Ты скажешь им?..

— Да, я хочу, я должен!.. Я на этих днях отправлюсь в армию, Полина, — продолжал Рославлев, подойдя к своей невесте. — Вот письмо, которое я сейчас получил от приятеля моего Зарецкого. Прочтите его. Мы должны расстаться.

— Как, сударь! — вскричала Лидина. — Так вы решительно хотите вступить в военную службу?

— Читайте, Полина! — продолжал Рославлев, — и скажите вашей матушке, могу ли я поступить иначе.

Полина начала читать письмо. Грудь ее сильно волновалась, руки дрожали; но, несмотря на это, казалось, она готова была перенести с твердостью ужасное известие, которое должно было разлучить ее с женихом. Она дочитывала уже письмо, как вдруг вся помертвела; невольное восклицание замерло на посиневших устах ее, глаза сомкнулись, и она упала без чувств в объятия своей сестры.

С воплем отчаяния бросилась Лидина к своей дочери.

— *Chere enfant!*!.. — вскричала она, — что с тобой сделалось?.. Ах, она ничего не чувствует!.. Полюбуйтесь, сударь!.. вот следствия вашего упрямства... Полина, друг мой!.. Боже мой! она не приходит в себя!.. Нет, вы не человек, а чудовище!.. Стоите ли вы любви ее!.. О, если б я была на ее месте!.. *Ah, mon dieu!* (Ах, бог мой! (фр.)) она не дышит... она умерла!.. Подите прочь, сударь, подите!.. Вы злодей, убийца моей дочери!..

— Успокойтесь, сударыня! — сказал Сурской. — Посмотрите, она приходит в себя. Это пройдет.

— Ах, если б прошла и любовь ее к этому человеку! — перервала Лидина, взглянув на убитого горестию Рославлева.

Полина открыла глаза, поглядела вокруг себя довольно спокойно; но когда взор ее остановился на письме, которое замерло в руке ее, то она вскрикнула и, подавая его торопливо Оленьке, сказала:

— Прочти, мой друг, прочти!

— Не печалься, мой ангел! — сказала Лидина, — он не поедет.

— Нет, маменька, — отвечала твердым голосом Полина, — он не должен и не может остаться с нами.

Оленька, читая письмо, не могла также удержаться от невольного восклицания.

— Поедьте скорей домой, маменька, — сказала она. — Вы видите, как Полина расстроена: ей нужен покой. А вы, Владимир Сергеевич, через час или через два приезжайте к нам. Поедьте!

Лидина, уезжая с своими дочерьми, сказала в гостиной несколько слов жене предводителя, та шепнула своей приятельнице Ильменевой, Ильменева побежала в беседку рассказать обо всем своему мужу, и чрез несколько минут все гости знали уже, что Рославлев едет в армию и что мы деремся с французами.

— Ну, господа! — сказал исправник, — теперь таиться нечего: ведь и его превосходительство за этим изволил ускакать в губернский город.

— Так вот что! — вскричал хозяин. — Верно, рекрутской набор?

— Какой рекрутской набор! Осмелюсь доложить, того и гляди, что поголовщина будет.

— Добрался-таки до нас этот проклятый Бонапартый! — сказал Буркин. — Чего доброго, он этак, пожалуй, сдуру-то в Москву полезет.

— А что ты думаешь? — примолвил Ижорской, — его на это станет.

— Избави господи! — воскликнул жалобным голосом Ладушкин. — Что с нами тогда будет?

— А что бог велит, — подхватил Буркин. — Живые в руки не дадимся. Поголовщина, так поголовщина!

— Да, — прибавил предводитель, — если французы не остановятся на границе, всеобщее ополчение необходимо.

— Помилуйте! — сказал Ладушкин, — что мы, с кулаками, что ль, пойдем?

— Да с чем попало, — отвечал Буркин. — У кого есть ружье — тот с ружьем; у кого нет — тот с рогатиной. Что в самом деле!.. Французы-то о двух, что ль, головах? Дай-ка я любого из них хвачу дубиною по лбу — небось не встанет.

— Я не думаю, однако ж, чтоб французы решились идти в средину России, — заметил предводитель. — Карл Двенадцатый испытал под Полтавою, как можно в одно сражение погубить всю свою военную славу.

— Да ведь Наполеон тащит за собой всю Европу, — подхватил Ижорской. — Нет, господа, он доберется и до Москвы.

— А мы его встретим, — примолвил Буркин, — да зададим такой банкет, что ему и домой не захочется.

— Воля ваша, — сказал со вздохом Ладушкин, — а тяжело нам будет! Я помню милицию: чего нам, дворянам, стоило одеть, обусть да прокормить этих ратников.

— Да, брат Ладушкин! — закричал Буркин, — починай свою кубышку-то. Ведь денег у тебя накоплено не по-нашему.

— Помилуйте! Да откуда?

— Чего тут миловать — распоясывайся, любезный.

— Конечно, как велят...

— Велят!.. плохой ты, брат, дворянин! Чего тут дожидаться приказа — сам давай! Господи боже мой! мы, что ль, русские дворяне, не живем припеваючи? А пришла беда, так и в куст?.. Сохрани владыко!.. Последнюю денежку ставь ребром.

— Конечно! — сказал хозяин. — Если понадобятся ратники, так я и музыкантов моих не пожалею... А народ-то, братцы, какой!.. Наметанный, лихой — пострелы! Любой на пушку ползет!

— А я, — заревел Буркин, — всем моим конным заводом бью челом его царскому величеству. Изволь, батюшка государь, бери да припасай только людей, а уж эскадрон лихих гусар поставим на ноги.

— Как? — спросил Ижорской, — ты отдашь и персидского жеребца?

— Султана?.. и его отдам!.. Нет, Николай Степанович, нет! На нем сам пойду под француза. Умирать — так умирать обоим вместе!

— Я уверен, — сказал предводитель, — что все дворянство нашей губернии не пожалеет ни достояния своего, ни самих себя для общего дела. Стыд и срам тому, кто станет думать об одном себе, когда отечество будет в опасности.

— Да, да, стыд и срам! — повторили все, не исключая Ладушкина, который, увлеченный примером других, позабыл на минуту о своей шкатулке.

— Кто не может идти сам, — прибавил Буркин, — так пусть отдаст все, что у него есть.

— Аминь! — закричал Ижорской. — Ну-ка, господа, за здоровье царя и на гибель французам! Гей, малый! Шампанского!

— Нет, братец, — перервал Буркин, — давай наливки: мы не хотим ничего французского.

— В том-то и дело, любезный! — возразил хозяин. — Выпьем сегодня все до капли, и чтоб к завтраму в моем доме духу не осталось французского.

— Нет, Николай Степанович, пей кто хочет, а я не стану — душа не примет. Веришь ли богу, мне все французское так опротивело, что и слышать-то о нем не хочется. Разбойники!..

Дворецкой вошел с подносом, уставленным бокалами.

— Налей ему, Парфен! — закричал хозяин. — Добро, выпей, братец, в последний раз...

— Эх, любезный!.. Ну, ну, так и быть; один бокал куда ни шел. Да здравствует русской царь! Ура!.. Проклятый напиток; хуже нашего кваса... За здоровье русского войска!.. Подлей-ка, брат, еще... Ура!

— Да убирайся к черту с рюмками! — сказал хозяин. — Подавай стаканы: скорей все выпьем!

— И то правда! — подхватил Буркин, — пить, так пить разом, а то это скверное питье в горле засядет. Подавай стаканы!..

ГЛАВА III

Двести лет царство русское отдыхало от прежних своих бедствий; двести лет мирный поселянин не менял сохи своей на оружие. Россия, под самодержавным правлением потомков великого Петра, возрастала в силе и могуществе; южный ветер лелеял русских орлов на берегах Дуная; наши волжские песни раздавались в древней Скандинавии; среди цветущих полей Италии и на вершинах Сент-Готарда сверкали русские штыки: мы пожинали лавры в странах иноплеменных; но более столетия ни один вооруженный враг не смел переступить за границу нашего отечества. И вдруг раздался гром оружия на западе России, и прежде чем слух о сем долетел до отдаленных ее областей, древний Смоленск был уже во власти Наполеона. Случалось ли вам, проснувшись в полночь, прислушиваться недоверчиво к глухим раскатам отдаленного грома и, видя над собой светлое небо, усеянное звездами, засыпать снова с утешительною мыслию, что вам послышалось, что это не гроза, а воеет ветер в соседней дубраве? Точно то же было с большею частию русских. «Французы в России!.. Нет, это невозможно! это пустые слухи!..» — говорили жители низовых городов и, на минуту встревоженные этим грозным известием, обращались спокойно к обыкновенным своим занятиям. Но слова того, кто один мог возбудить ото сна дремлющую Россию, пронеслись от берегов Вислы во все края обширной его империи. «Так! французы в России!.. Я не положу оружия, — сказал он, — доколе ни единого неприятеля не останется в царстве моем...» — и миллионы уст повторили слова царя русского! Он воззвал к верному своему народу. «Да встретит враг, — вещал Александр, — в каждом дворянине Пожарского, в каждом духовном — Палицына, в каждом гражданине — Минина...» — и все русские устремились к оружию. «Война!» — воскликнул весь народ, и потомки бесстрашных славян, как на брачное веселье, потекли на сей кровавый пир всей Европы.

О, как велик, как благороден был этот общий энтузиазм народа русского! В каком обширном объеме повторилось то, что два века тому назад извлекало слезы умиления и восторга из глаз всех жителей нижегородских. Не малочисленный враг был в сердце

России, не граждане одного города поклялись умереть за свободу своей родины, — нет! первый полководец нашего времени, влеча за собой силы почти всей Европы, шел, по собственным словам его, раздавить Россию. Но двести лет назад отечество наше, раздираемое междоусобием, безмолвно преклоняло сиротствующую главу под ярем иноплеменных; а теперь бесчисленные голоса отзывались на мощный голос помазанника божия; все желания, все помышления слились с его волею. Русские восстали, и приговор всевышнего свершился над сей главой, обремененной лаврами и проклятиями вселенной. Могучий, непобедимый, он ступил на землю русскую — и уже могила его была назначена на уединенной скале безбрежного океана!

Кто опишет с должным беспристрастием эту ужасную борьбу России с колоссом, который желал весь мир иметь своим подножием, которому душно было в целой Европе? Мы слишком близки к происшествиям, а на все великое и необычайное должно смотреть издалека. Увлекаясь современной славой Наполеона, мы едва обращаем взоры на самих себя. Нет, для русских 1812-го года и для Наполеона — потомство еще не наступило! После упорного и кровопролитного сражения под Смоленском, бывшего 5 числа августа, наши войска стали отступать к Доргобужу. Направление большой неприятельской армии доказывало решительное намерение Наполеона завладеть древней столицей России; и в то время как войска наши, под командою храброго графа Витгенштейна, громили Полоцк и истребляли корпус Удино, угрожавший Петербургу, Наполеон быстро подвигался вперед, 13-го числа августа он был уже в Доргобуже. Несколько часов сряду наш арьергард удерживал стремление неприятеля; наступающая ночь прекратила наконец военные действия; пушечные выстрелы стали реже, и стрелки обеих армий, протянув передовые цепи, присоединились к своим колоннам. Русской арьергард расположился биваками по большой Московской дороге, в двух верстах от Доргобужа. Запылал длинный ряд огней, и усталые воины уселись вокруг артельных котлов, в которых варилась сытная русская каша. Подле одного ярко пылающего костра, прислонив голову к высокому казачьему седлу, лежал на широком потнике молодой офицер в белой кавалерийской фуражке; небрежно накинутая на плеча черкесская бурка не закрывала груди его, украшенной Георгиевским крестом; он наигрывал на карманном флажолете французской романс: «Jeune Troubadour» («Юный трубадур» (фр.)), и, казалось, все внимание его было устремлено на то, чтоб брать чище и вернее ноты на этой музыкальной игрушке. Рядом с ним сидел другой офицер в сюртуке, с золотым аксельбантом; он смотрел пристально на медный чайник, который стоял на углях, но, вероятно, думал совершенно о другом, потому что вовсе не замечал, что чай давно кипел и несколько уже раз начинал выливаться из чайника.

— Рославлев! — сказал офицер в бурке, перестав играть на своем флажолете, — каково я кончил это колено? а?.. Ну, что ты молчишь, Владимир! Да проснись, душенька!

— Что ты, братец? — спросил Рославлев, не глядя на своего товарища, в котором читатели, вероятно, узнали уже приятеля его, Зарецкого.

— Я, mon cher? Ничего! да с тобой-то что делается? Неудивительно, что ты оглох; мне и самому ка-жется, что от сегодняшней проклятой канонады я стал крепок на ухо; но отчего ты ослеп?.. Гляди, гляди!.. Да что ж ты смотришь, братец? Ведь чай уйдет. Рославлев, не отвечая ничего, отодвинул чайник от огня. Зарецкой вынул из व्यюка сахар, два серебряных стакана, фляжку с ромом, и через минуту горячий пунш был готов. Подавая один стакан своему приятелю, Зарецкой сказал:

— Ну-ка, Владимир, запей свою кручину! Да полно, братец, думать о Полине. Что в самом деле? Убьют, так и дело с концом; а останешься жив, так самому будет веселее явиться к невесте, быть может, с подвязанной рукой и Георгиевским крестом, к которому за сражение под Смоленском ты, верно, представлен.

— Ах, Александр, вот уже более месяца, как я расстался с нею! Не знаю, получает ли она мои письма, но я не имею о ней никакого известия.

— Да, мой друг, это ужасно! Мы сами не знаем поутру, где будем вечером; а ты хочешь, чтоб она знала, куда адресовать свои письма, и чтоб они все до тебя доходили. Ах ты, чудака, чудака!

— Но если и мои письма пропадают? Если она думает, что я убит?

— А реляции-то на что, мой друг? Дерись почаще так, как ты дрался сегодня поутру, так невеста твоя из каждой газеты узнает, что ты жив. Это, мой друг, одна переписка, которую теперь мы можем вести с нашими приятелями. А впрочем, если она будет думать, что тебя убили, так и это не беда; больше обрадуется и крепче обнимет, когда увидит тебя живого.

— Но почему ты думаешь, что одна эта мысль не убьет ее?

— Почему, почему... во-первых, потому, что с горя не умирают; во-вторых...

— Ты но знаешь моей Полины, Александр. Одно известие, что я снова иду в военную службу, едва не стоило ей жизни. Она прочла письмо твое...

— А, так она его читала? Не правда ли, что оно бойко написано? Я уверен был вперед, что при чтении этого красноречивого послания русское твое сердце забьет такую тревогу, что любовь и места не найдет. Только в одном ошибся: я думал, что ты прежде женишься, а там уж приедешь сюда пировать под картечными выстрелами свою свадьбу: по крайней мере я на твоём месте непременно бы женился.

— Что ж делать, мой друг! Мать Полины не хотела об этом и слышать. Я должен был или не вступать в службу, или решиться остаться женихом до окончания войны.

— Ну, mon cher, хороша же твоя будущая маменька! Я знал, что она самая бонтонная барыня, парижанка, что от нее требовать большого патриотизма не можно; но, право не полагал... Ах, знаешь ли что? ведь она живет в деревне?.. Ну, так и есть! Бедняжка и не подозревает, что в столицах тон совершенно переменился. Если б она знала, в какой теперь моде патриотизм, то верно бы не стала с тобой торговаться. Ты не можешь себе представить, как все переменялось в Петербурге: французской театр закрыли, и — ни одна русская барыня не охнула. Все наши дамы в таком порядке, что любо посмотреть: с утра до вечера готовят для нас корпию и перевязки; по-французски не говорят, и даже родственница твоя, княгиня Радушна, — поверишь ли, братец? — прескверным русским языком вот так французов и позорит.

— Слава богу! мы догадались наконец, что у нас есть отечество и свой собственный язык.

— О, что касается до нашего языка, то, конечно, теперь он в моде; а дай только войне кончиться, так мы заболтаем пуще прежнего по-французски. Язык-то хорош, мой милый! ври себе что хочешь, говори сущий вздор, а все кажется умно. Но я перервал тебя. Итак, твоя Полина, прочтя мое письмо...

— Слегла в постелю, мой друг; и хотя после ей стало легче, но когда я стал прощаться с нею, то она ужасно меня перепугала. Представь себе: горесть ее была так велика, что она не могла даже плакать; почти полумертвая она упала мне на шею! Не помню, как я бросился в коляску и доехал до первой станции... А кстати, я тебе еще не сказывал. Ты писал ко мне, что взял в плен французского полковника, графа, графа... как бишь?
— Сеникура.

— Да; ведь я с ним повстречался верстах в тридцати от моей деревни. В то время как я переменял лошадей, привезли его и несколько других пленных офицеров на почтовый двор. Зная твое пристрастие к французам, я не очень тебе верил; но, признаюсь, на этот раз твои похвалы были даже слишком умеренны. Подлинно молодец!.. Разрубленная голова его была вся в перевязках, и, несмотря на это, я не мог налюбоваться на его прекрасную и благородную физиономию. Когда я узнал, что он тот самый полковник, которого ты угощал на своем биваке, то, разумеется, стал его расспрашивать о тебе, и хотя от боли и усталости он едва мог говорить, но отвечал весьма подробно на все мои вопросы. Положение его было ужасно: он чувствовал сильную лихорадку, которая могла превратиться в смертельную болезнь, если б его оставили без помощи. Я уговорил конвойного офицера сдать его на руки капитан-исправнику, который по моей просьбе

взялся отвезти его в деревню к будущей моей теще. В нашем уездном городке было бы ему несравненно хуже.

— Разумеется. Да знаешь ли что? Я позабыл к тебе написать. Кажется, он знаком с семейством твоей Полины; по крайней мере он мне сказывал, что года два тому назад, в Париже, познакомился с какой-то русской барыней, также Лидиной, и ездил часто к ней в дом. Тогда он был еще женат.

— Так он вдовец? — Да, жена его умерла за несколько месяцев до этой кампании. Но кой черт?.. что это?

Над головою Зарецкого прожужжала пуля; вслед за нею свистнула в двух шагах другая.

— Что это? Французы с ума сошли! — сказал Рославлев. — Да в кого они стреляют?.. Ну, видно, у них много лишнего пороха.

— Это шалят на цепи, — перервал Зарецкой, — и, верно, задирают наши. Пойдем, братец!

— продолжал он, вставая, — посмотрим, что там эти озорники делают. Отойдя несколько шагов от своего бивака, они подошли к мелкому кустарнику, в котором протянута была наша передовая цепь; шагах в пятидесяти от нее стояли французские часовые; позади их пылали огни неприятельского авангарда, а вдаль, вокруг Доргобужа, по всему пространству небосклона расстилалось широкое зарево. В неприятельском авангарде было все тихо; но там, где бесчисленные огни сливались в одну необозримую пламенную полосу, гремела музыка и от времени до времени раздавались веселые крики пирующего неприятеля.

Когда они подошли к передовой цепи, то все уже опять успокоилось. Почти все часовые, расставленные попарно в близком расстоянии друг от друга, наблюдали глубокое молчание. Ночь была пасмурна, и серые шинели солдат сливались совершенно с темной зеленью кустов, среди которых они стояли. Изредка только неприятельские огни отражались на блестящих штыках их ружьев и вызывали французских часовых на перестрелку, почти всегда бесполезную, но которая не менее того тревожила иногда всю передовую линию нашего арьергарда. Несколько уже минут Зарецкой и Рославлев шли вдоль цепи, не говоря ни слова. Вдруг Зарецкой приложил к губам палец и сказал шепотом Рославлеву.

— Тс! тише, братец!

— Что ты? — спросил Рославлев также вполголоса.

— Постой!.. Так точно... вот, кажется, за этим кустом говорят меж собой наши солдаты... пойдем поближе. Ты не можешь себе представить, как иногда забавны их разговоры, а особенно когда они уверены, что никто их не слышит. Мы привыкли видеть их во фрунте

и думаем, что они вовсе не рассуждают. Послушай-ка, какие есть между ними политики — умора, да и только! Но тише!.. Не шуми, братец!

Они подошли потихоньку к двум часовым, которые, опираясь на свои ружья, вполголоса разговаривали между собою.

— Смотри-ка, брат? — сказал один из них, — Ну что за народ эти французы, и огонька-то разложить порядком не умеют. Видишь — там, какой костер запалили?.. Эх они навалили бревен-то, проклятые!

— Да ведь лес-то не их, братец, — отвечал другой часовой, — так чего им жалеть?

— Как чего? Не все ж им идти вперед: пойдут назад; а как теперь все выжгут, так и самим после будет жутко.

— Да что это, Федотов, мы всё идем назад, а они вперед?..

— Видно, так надобно.

— Уж нет ли, брат, измены какой?..

— Нет, братец! ты этого дела не смыслишь: мы ратируемся.

— Вот что!

— Ну да! пусть себе идут вперед. Теперь они сгоряча так и лезут, а как пройдут сотенки три, четыре верст, так уходятся. Ну, знаешь, отсталых будет много, по сторонам разбредутся, а мы тут-то и нагрянем. Понимаешь?

— То есть врасплох?.. Разумею. А что, Федотов, ведь надо сказать правду: эти французы brave ребята. Вот хоть сегодня, досталось нам на орехи: правда, и мы пощелкали их порядком, да они себе и в ус не дуют! Ах, черт побери! Что за диковинка! Люди мелкие, поджарые, ну взглянуть не на что, а как дерутся!..

— Да, братец, конечно; народ азартной, а несдобровать им.

— Право?

— Уж я тебе говорю. Да и чему быть?.. Порядку вовсе нет. Я бывал у них в полону, так насмотрелся. Ну уж вольница! В грош не ставят своих командиров, а перед фельдфебелем и фуражки не ломают. Наш брат не спрашивает зачем то, зачем другое? Идет, куда ведут, да и дело с концом; а они так нет: у всякого свой царь в голове; да добро бы кто-нибудь? а то иной барабанщик, и тот норовит своего генерала за пояс заткнуть. А уж скорохватые какие... батюшки светы! Алон, алон! (Вперед, вперед! (фр.)) вот так сначала и задорятся! И что говорить, конечно, накоротке хоть кого оборвут, а как дело пойдет в оттяжку, так нет, брат, не жди пути!..

— Правда ли, Федотов, — сегодня наши ребята болтали, что Англия с нами?

— Говорят, так. Вот это, братец, народ!

— А ты почему знаешь?

— Я еще, любезный, до солдатства был о моим барином в их главном городе. Ну, городок! больше Москвы, народ крупный, здоровый; постоит за себя! А как, брат, дерутся в кулачки, так я тебе скажу!.. У барина был там другой слуга, из тамошних; он мараковал немного по-русски, так все мне показывал и толковал. Вот однажды повел он меня в их суд — уж нагладелся я! Все, знаешь, сидят так чинно, а судьи говорят. Товарищ мне все по-нашему пересказывал. Вот вдруг один судья — такой растрепанный — встал и сказал: «Быть войне». Как вскочит другой судья да закричит: «Так врешь, не быть войне». И пошли и пошли! то тот, то другой; уж они говорили, говорили, а другие-то все слушают да вдруг нет-нет и закричат: «Гир, гир, гир!» (Слушайте, слушайте! (от англ. heard.)) Знатно, братец!

— Куда ты, брат Федотов, всего нагладелся, подумаешь!

— Да, любезный, дело бывалое; и там и сям, и в других прочих землях бывали; кому другому, а нам не в диковинку... ходили в поход и в Немерию, То-то сытная земля и народ ласковый! Поразговоришься с хозяином, так все даст. Бывало, войдешь в избу: «Ну здравствуй, камарад!» (Товарищ! (нем.)) Он заговорит по-своему; ты скажешь: «Добре, добре!» — а там и спросишь: бруту, биру (хлеба, пива (от нем. Brot, Bier)), того, другого; станет отнекиваться, так закричишь: «Капут!» Вот он тотчас и заговорит: «Русишь гут!», а ты скажешь: «Немец гут!» — дело дойдет до шнапсу, и пошли пировать. Захотелось выпить по другой, так покажешь на рюмку да скажешь: «Нох!» (Еще (от нем. noch.)) — ан глядишь: тебе и подают другую; ведь язык-то их не мудрен, братец!

— Так ты по-немецкому-то знаешь?

— Мало ли что мы знаем! Эх, Ваня! как бы не чарочка сгубила молодца, так я давно бы был уж унтером.

— Постой-ка, Федотов! — сказал другой часовой, поднимая свое ружье.

— Посмотри, что это там за французской цепью против огонька мелькнуло? Как будто б верховой... вон опять!.. видишь?

— Вижу, — отвечал Федотов. — Какой-нибудь французской офицер объезжает передовую цепь.

— Не спешить ли его? — шепнул второй часовой, взводя курок.

— Погоди, погоди!.. Его. опять не видно. Что даром-то патроны терять! Дай ему поравняться против огонька.

Чрез полминуты кавалерист в драгунской каске, заслонив собою огонь ближайшего неприятельского бивака, остановился позади французской цепи, и всадник вместе с лошастью явственно отпечатались на огненном поле пылающего костра.

— Ну вот, теперь! — сказал, прикладываясь, второй часовой.

— Постой, постой, братец! Спугнешь! — перервал Федотов. — Ты и в мишень плохо попадаешь; дай-ка мне!

— Ну, ну, стреляй! посмотрим твоей удали.

Федотов прицелился; вдруг смуглые лица обоих солдат осветились, раздался выстрел, и неприятельской офицер упал с лошади.

— Ай да молодец! — сказал Зарецкой, сделав шаг вперед; но в ту ж самую минуту вдоль неприятельской линии раздались ружейные выстрелы, пули засвистали меж кустов и кто-то, схватив за руку Рославлева, сказал:

— Не стыдно ли тебе, Владимир Сергеевич, так дурачиться? Ну что за радость, если тебя убьют, как простого солдата? Офицер должен желать, чтоб его смерть была на что-нибудь полезна отечеству.

— Кто вы? — спросил с удивлением Рославлев. — Ваш голос мне знаком; но здесь так темно...

— Пойдем к твоему биваку.

Наши приятели, не говоря ни слова, пошли вслед за незнакомым. Когда они стали подходить к огням, то заметили, что он был в военном сюртуке с штаб-офицерскими эполетами. Подойдя к биваку Зарецкого, он повернулся и сказал веселым голосом:

— Ну, теперь узнаешь ли ты меня?

— Возможно ли! Это вы, Федор Андреевич? — вскричал с радостью Рославлев, узнав в незнакомом приятеля своего, Сурского.

— Ну, вот видишь ли, мой друг! — продолжал Сурской, обняв Рославлева, — я не обманул тебя, сказав, что мы скоро с тобой увидимся.

— Так вы опять в службе?

— Да, я служу при главном штабе. Я очень рад, мой друг, что могу первый тебя поздравить и порадовать твоих товарищей, — прибавил Сурской, взглянув на офицеров, которые толпились вокруг бивака, надеясь услышать что-нибудь новое от полковника, приехавшего из главной квартиры.

— Поздравить? с чем? — спросил Рославлев.

— С Георгиевским крестом. Я сегодня сам читал об этом в приказах. Но прощай, мой друг! Мне надобно еще поговорить с твоим генералом и потом ехать назад. До свиданья! надеюсь, мы скоро опять увидимся.

Казалось, эта новость обрадовала всех офицеров; один только молодой человек, закутанный в короткой плащ без воротника, не поздравил Рославлева; он поглаживал свои черные, с большим искусством закрученные кверху усы и не старался нимало скрывать насмешливой улыбки, с которою слушал поздравления других офицеров.

— Посмотри, братец, — шепнул Зарецкой своему приятелю, — как весело князю Блесткину, что тебе дали «Георгия»; у него от радости язык отнялся.

— И, Александр! — отвечал вполголоса Рославлев. — Какое мне до этого дело!

— Куда, подумаешь, как зависть безобразит человека: он недурен собою, а смотри, какая теперь у него рожа.

— Да что тебе за охота рассматривать физиономию этого фанфарона?

— Постой, братец, я пойду поговорю с ним вместе. Что ты так нахмурился, князь? — продолжал Зарецкой, подходя к офицеру, закутанному в плаще.

— Кто? я? — сказал князь Блесткин. — Ничего, братец, так!..

— Уж не досадно ли тебе?

— Что такое?.. Вздор какой! Я думал только теперь, как выгодно быть в военное время адъютантом.

— Право?

— Как же, братец! Адъютант может дать при случае весьма полезный совет своему генералу; например: не стоять под картечными выстрелами; а как за полезный совет дают «Георгия»...

— То ты, верно, его получишь, — перервал Зарецкой. — Ступай скорее в адъютанты.

— Что ты хочешь этим сказать? — спросил гордо Блесткин.

— А то, что Рославлев не советовал, а дрался и под Смоленском ходил в атаку с полком, в котором ты служишь.

— Я что-то этого не помню.

— Да как тебе помнить? Ты в начале сражения получил контузию и лежал замертво в обозе.

— Послушай, Зарецкой! этот насмешливый тон!.. Ты знаешь, я шуток не люблю.

— Как не знать? Ведь ты ужасный дуэлист.

— Я надеюсь, никто не осмелится сказать...

— Чтоб ты не был прехрабрый офицер? Боже сохрани! Я скажу еще больше: ты ужасный патриот и так сердит на французов, что видеть их не хочешь.

— Полноте, господа, остриться, — перервал бригадный адъютант Вельской, который уже несколько времени слушал их разговор. — А седлайте-ка лошадей: сейчас в поход.

— Вот тебе и раз! — вскричал Рославлев, — а мы не успели и поужинать.

— Ох, этот фанфаронишка! — сказал вполголоса Зарецкой. — Как бы я желал поговорить с ним в восьми шагах...

— Перестань, братец! Как тебе не стыдно? — перервал Рославлев. — Разве в военное время можно думать о дуэлях?

Все офицеры, кроме Блесткина, разошлись по своим бивакам. — Вы шутите очень забавно, — сказал он, — подойдя к Зарецкому, — но я не желал бы остаться у вас в долгу...

— А что угодно вашему сиятельству? — спросил с низким поклоном Зарецкой.

— Кажется, этого пояснять не нужно...

— А, понимаю! Вам угодно со мною драться? Извините, ваше сиятельство! теперь, право, некогда; после, если прикажете.

— Расчет недурен! — сказал с презрительной улыбкою Блесткин, — то есть: вы подождете, пока меня убьют?..

— Помилуйте! Да этого век не дожدهшься.

— Я презираю ваши глупые насмешки и повторяю еще раз, что если вы знаете, что такое честь, — в чем, однако ж, я очень сомневаюсь...

Лицо Зарецкого вспыхнуло; он схватил Блесткина за руку; но Рославлев не дал ему выговорить ни слова.

— Пойдите, господа! — вскричал он. — Если уж непременно надобно кому-нибудь драться, так — извините, князь, — вы деретесь не с ним, а со мною. Ваши дерзкие замечания насчет полученной мною награды вызвали его на эту неприятность; но, так как я обижен прежде...

— Нет, Владимир, — перервал Зарецкой, — я не уступлю тебе удовольствия — проучить этого обозного героя...

— Фи, Александр! приличен ли этот тон между офицерами!

— Но я хочу непременно...

— После меня, Зарецкой; прошу тебя!

— Позвольте мне прекратить этот великодушный. спор, — сказал насмешливо Блесткин.

— Я начну с вас, господин Рославлев... но когда же?

— При первом удобном случае.

— То есть не прежде окончания кампании?

— О, не беспокойтесь! это будет скорее, чем вы думаете.

— Посмотрим, — сказал, уходя, Блесткин. — Не забудьте, однако ж, что я не люблю дожидаться и найду, может быть, средство поторопить вас весьма неприятным образом.

— Наглец! — вскричал Зарецкой, схватившись за свою саблю.

— И, полно, Александр! Не горячись! Ты увидишь, как я проучу этого фанфарона; а меж тем вели-ка седлать наших лошадей.

Через несколько минут приказали снимать потихоньку передовую цепь; огни были оставлены на своих местах, и весь арьергард, наблюдая глубокую тишину, выступил в поход по большой Московской дороге.

ГЛАВА IV

14-го числа августа наши войска, преследуемые неприятелем, шли почти не останавливаясь, целые сутки. По всем предположениям, большая русская армия должна была, несмотря на искусные маневры Наполеона, соединиться при Вязьме с молдавской армиею, которая спешила к ней навстречу, 15-го числа наш арьергард, в виду неприятельского авангарда, остановился при деревне Семехах. Позади одной русской колонны, прикрывавшей нашу батарею из шести полевых орудий, стоял, прислонясь к небольшому леску, гусарской эскадрон, которым командовал Зарецкой. С правой стороны, шагов сто от леса, в низких и поросших кустарником берегах извивалась узенькая речка; с полверсты, вверх по ее течению, видны были: плотина, водяная мельница и несколько разбросанных без всякого порядка изб.

— Тьфу, пропасть, как я устал! — сказал Зарецкой, слезая с лошади. — Авось французы дадут нам перевести дух!

— Вряд ли! — возразил краснощекой и видной собою гусарской поручик, слезая также с коня. — Мне кажется, они берут позицию.

— Может быть, для того, чтоб отдохнуть; я думаю, они устали не меньше нашего. Да что ты так хмуришься, Пронской?

— Чего, братец! Я вовсе исковеркан, точно разбитая лошадь: насилу на ногах стою. И эти пехотинцы еще нам завидуют! Попробовал бы кто-нибудь из них не сходить с коня целые сутки.

— Кто это несется с правого фланга? — спросил Зарецкой, показывая на одного офицера, который проскакал мимо передовой линии на англезированной вороной лошади.

— Хорош же ты, брат! — сказал с улыбкою Пронской, — не узнал своего приятеля: это князь Блесткин.

— Ах, батюшки! Что он так суетится?

— Так ты не знаешь? Наш бригадный генерал взял его к себе за адъютанта.

— Право? Ну, не с чем поздравить его превосходительства!

— Да и Блесткин, я думаю, не больно себя поздравляет: генерал-то вовсе не по нем — молодец! Терпеть не может дуэлистов; а под картечью раскуривает трубку да любит, чтоб и адъютанты его делали то же.

— Эй, Зашибаев! — вскричал Зарецкой, — поддержи мою лошадь; а ты, Пронской, побудь при эскадроне: я пойду немного вперед и посмотрю, что там делается.

Широкоплечий вахмистр принял лошадь Зарецкого, который, пройдя шагов сто вперед, подошел к батарее. Канонеры, раздувая свои фитили, стояли в готовности подле пушек, а командующий орудиями артиллерийской поручик и человека три пехотных офицеров толпились вокруг зарядного ящика, из которого высокий фейерверкер вынимал манерку с водкою, сыр и несколько хлебов.

— Милости просим! — сказал один толстой офицер в капитанском знаке. — Не хочешь ли выпить и закусить?

— А, это ты, Зарядьев? — отвечал Зарецкой. — Пожалуй, как не закусить! Да ты что тут хозяйничаешь? Помилуй, Ленской! — продолжал он, обращаясь к артиллерийскому офицеру, — за что он меня твоим добром потчевает?

— Нет, не его, а моим, — перервал Зарядьев. — Я бился с ним о завтраке — и выиграл. Он спорил со мной, что мы здесь остановимся.

— А почему ты думал, что должны мы здесь остановиться?

— Да посмотри-ка, какая славная позиция! Речка, лесок, кустарник для стрелков. Небось французы не вдруг сунутся нас атаковать, а мы меж тем отдохнем.

— Вряд ли! — сказал Зарецкой, покачивая головою. — Посмотри, как они там за речкой маневрируют... Вон, кажется, потянулась конница... а прямо против нас... Ну, так и есть. Они ставят батарею,

— Зато взгляни направо к мельнице... Видишь, задымился огонек?

— Так что ж?

— А то, что они собираются не атаковать нас, а отдохнуть и пообедать, а пока они готовят свой суп, и наши ребята успеют сварить себе кашицу. Ну-ка, брат, выпей!

— Так ты думаешь, Зарядьев, что эту манерку из руки у меня ядром не вышибет?

— Небось, пей на здоровье!

— Слышали ль, господа! — сказал Ленской, — что князь Блесткин попал в адъютанты к нашему бригадному командиру?

— Как же! — отвечал Зарядьев, — он и прежде не хотел говорить с нашим братом, а теперь, чай, к нему и доступу не будет.

— Да как это ему вздумалось? — продолжал Ленской. — Не знаю, у кого другого, а у нашего генерала шарканьем не много возьмешь, Да вот, кажется, его сиятельство сюда скачет. Ну, легок на помине!

— Господа офицеры! — сказал Блесткин, подскакав к батарее, — его превосходительство приказал вам быть в готовности, и если французы откроют по вас огонь, то сейчас

отвечать.

— Слушаю.

— Мне кажется, — продолжал Блесткин, посмотрев с важностью вокруг себя, — зарядные ящики стоят слишком близко от орудий.

— Это уже не ваша забота, господин Блесткин! — отвечал хладнокровно Ленской, повернясь к нему спиною.

— О! если так, — вскричал Блесткин с гордостью, — то я доложу генералу...

— В самом деле? — перервал Ленской. — Доложите ему, что его адъютант мешается там, где его не спрашивают.

— Господин офицер! я советую вам...

— Напрасно беспокоитесь, ваше сиятельство! — подхватил Зарецкой. — Ведь за этот совет вам «георгия» не дадут.

Блесткин побледнел от досады; но, не отвечая ни слова, пришпорил свою лошадь и поскакал далее.

— Эх, Ленской! — сказал толстый капитан, — что ты не дал ему побариться? Тебя бы от этого не ubyло, а мы бы посмеялись.

— Прошу покорно! — перервал Ленской, — вздумал меня учить! И добро бы знал сам службу...

— Верно не знает! — подхватил Зарядьев. — Вот года три тому назад ко мне в роту попал такой же точно молодчик — всех так и загонял! Бывало, на словах города берет, а как вышел в первый раз на ученье, так и язык прилип к гортани. До штабс-капитанского чина все в замке ходил.

— Поглядите-ка, господа! — сказал Ленской, — что там за речкою делается? Французы что-то больно зашевелились.

Вдруг густое облако дыма закрутилось на противоположном берегу; окрестность дрогнула, и одно ядро с визгом пронеслось над головами наших офицеров.

— Ну что, Зарядьев, — сказал Зарецкой, — видно, французы уж отобедали?

— По местам, господа! — закричал Зарядьев пехотным офицерам, которые спокойно завтракали, сидя на пушечном лафете. — Зарецкой, — продолжал он, — пойдем к нам в колонну — до вас еще долго дело не дойдет.

— Через орудие — ядрами! — скомандовал громким голосом Ленской. — Живей, ребята! Зарецкой и Зарядьев подошли к колонне; капитан стал на свое место. Ударили поход. Одна рота отделилась от прикрытия, выступила вперед, рассыпалась по кустам вдоль речки, и с обеих сторон началась жаркая ружейная перестрелка, заглушаемая по временам неприятельской и нашей канонадою, которая становилась час от часу сильнее.

— Ну, видно, мы сегодня поработаем! — заметил Зарядьев. — Посмотрите-ка вперед, какие тянутся густые колонны по большой дороге.

— Здравствуй, Александр! — сказал Рославлев, подъехав к Зарецкому. — Что ты здесь делаешь?

— Да так, братец! пришел посмотреть. Мой эскадрон стоит вон там, подле леса, откуда ничего не видно. А ты как сюда попал?

— Ездил с приказаниями на правый фланг. Кажется, дело будет не на шутку.

— А что?

— Приказано не только удерживать позицию, но перебросить через речку наших стрелков и стараться всячески опрокинуть первую неприятельскую линию.

— Слава богу! насилу-то и мы будем атаковать. А то, поверишь ли, как надоело! *Toujours sur la defensive* (Всегда в обороне (фр.)) — тоска, да и только. Ого!.. кажется, приказание уж исполняется?.. Видишь, как подбавляют у нас стрелков?.. Черт возьми! да это батальный огонь, а не перестрелка. Что ж это французы не усиливают своей цепи?.. Смотри, смотри!.. их сбили... они бегут... вон уж наши на той стороне... Ай да молодцы!

— Вся колонна вперед — марш! — скомандовал полковник.

— Ну, прощай покамест, Александр! — сказал Рославлев.

— Что за прощай, братец! До свиданья! Куда ты?

— На левый фланг, к моему генералу.

Вся наша передовая линия подалась вперед; батареи также подвинули, и сражение закипело с новой силою.

— Ну, какая идет там жарня! — сказал Зарядьев, смотря на противоположный берег речки, подернутый густым дымом, сквозь которого прорывались беспрестанно яркие огоньки. — Ненадолго наших двух рот станет. Да что с тобой, Сицкой, сделалось? — продолжал он, обращаясь к одному молодому прапорщику. — На тебе лица нет! Помилуй, разве ты в первый раз в деле?

— Мой брат в стрелках! — отвечал молодой офицер.

— Так что ж?

— А наша рота еще нейдет.

— Не беспокойся, дойдет дело и до вашей роты.

— Но брат мой!..

— И, Сицкой! Бог милостив — воротится.

— Вряд ли воротится, — перервал грубым голосом один высокой офицер с неприятной и даже отвратительной физиономиею. — Там что-то больно жарко.

— В самом деле? Вы думаете?.. — спросил с беспокойством молодой офицер.

— Да что за диковинка? Натурально, его убьют скорее в стрелках, чем меня здесь в колонне.

— Как тебе не стыдно! — сказал вполголоса Зарядьев, — Ты знаешь, как он любит своего брата.

— Вот еще какие нежности!.. У меня и двух братьев убили, да я...

Высокой офицер не закончил начатой фразы: неприятельское ядро, вырвав два ряда солдат, раздробило ему череп.

— Сомкнись! — скомандовал Зарядьев. Солдаты придвинулись друг к другу. Еще несколько ядер пролетело через колонну.

— Эй, вы! — закричал Зарядьев, — стоять смирно! Ну! начали кланяться, дурачье! Тотчас узнаешь рекрут, — продолжал он, обращаясь к Зарецкому. — Обстрелянный солдат от ядра не пошевелится... Кто там еще отвесил поклон?

— Нефедьев, ваше благородие! — отвечал унтер-офицер.

— Так и есть — рекрут! Эй ты, Нефедьев! зачем нагибаешь голову?

— Ядро, ваше благородие.

— А какое тебе до него дело, болван? Чего ты боишься?

— Убьет, ваше благородие!

— Убьет, дуралей! Слушай команду, а убьет — не твоя беда, Ахти! никак, это ведут капитана третьей роты? Ну, видно, его порядком зацепило!

Два солдата подвели к колонне офицера, обрызганного кровью; он едва мог переступить и переводил дух с усилием.

— Вы ранены? — сказал полковник.

— И, кажется, смертельно! — отвечал едва слышным голосом капитан. — Прикажете подкрепить наших стрелков: французы одолевают.

— А что майор?

— Убит.

— А капитан Белов?

— Убит.

— А брат мой? — спросил робко Сицкой.

— Убит.

— Убит! — повторил молодой офицер, побледнев как смерть. С полминуты он молчал; потом вдруг глаза его засверкали, румянец заиграл в щеках; он оборотился к полковнику и сказал:

— Степан Николаевич! сделайте милость — бога ради! позвольте мне в стрелки.

— Хорошо, ступайте с первой ротой, — сказал полковник, взглянув с приметным состраданием на молодого офицера. — Вторая и первая рота — в стрелки! Зарядьев! вы примите команду над всей нашей цепью... Барабанщик — поход!

— Становись! — скомандовал Зарядьев. — Да смотри, у меня в воробьев не стрелять! Метить в полчеловека! Перекрестись! Ну, ребята, с богом — марш! прощай, Зарецкой!

— Прощай, братец! Я также отправляюсь к моему эскадрону. Может быть, и до нас дело скоро дойдет.

Уже более пяти часов продолжалось сражение; несколько раз стрелки наши то сбивали неприятельскую цепь и дрались на противоположном берегу речки; то, прогоняемые на нашу сторону, продолжали перестрелку в нескольких шагах от колонн своих. Канонада не умолкала ни на минуту с обеих сторон; но наша и неприятельская конница оставались в бездействии. В то самое время, как Зарецкой начинал думать, что на этот раз эскадрон его не будет в деле, которое, по-видимому, не могло долго продолжаться, подскакал к нему Рославлев.

— Ну, Александр! — сказал он, — с богом! Тебе ведено переправиться через речку и атаковать с фланга неприятельских стрелков.

— Насилу о нас вспомнили!.. Фланкеры! осмотреть пистолеты! Сабли вон.

— Ты должен прикрывать отступление стрелков третьей колонны, — продолжал Рославлев. — Им становится уж больно тяжело. Бедняжки дерутся часов пять сряду.

— Жив ли наш приятель Зарядьев? Ведь он, кажется, ими командует?

— А вот сейчас узнаю: я еду к нему с приказанием, чтоб он понемногу отступал к нашей передовой линии. Смотри, Александр, налети соколом, чтоб эти французы не успели опомниться и дали время Зарядьеву убраться подобру-поздорову на нашу сторону.

— А вот что бог даст. По три налево заезжай — рысью марш!

Зарецкой с своим эскадронам принял направо, а Рославлев пустился прямо через плотину, вдоль которой свистели неприятельские пули. Подъехав к мельнице, он с удивлением увидел, что между ею и мучным амбаром, построенным также на плотине, прижавшись к стенке, стоял какой-то кавалерийской офицер на вороной лошади. Удивление его исчезло, когда он узнал в этом храбром воине — князя Блесткина.

— Что вы, сударь, здесь делаете? — спросил Рославлев, остановив свою лошадь.

— Ах! это вы? — вскричал Блесткин с самой вежливой улыбкою.

— Да, сударь, это я. А вы зачем здесь?

— Меня послал генерал взглянуть, что делается в передовой цепи.

— И вы для этого спрятались за этот амбар? Немного вы отсюда увидите.

— Что ж мне делать с этой проклятой лошадыю? — сказал Блесткин. — Она не хочет ни вперед идти, ни стоять на плотине.

Он дал шпоры своему английскому жеребцу, который в самом деле запрыгал на одном месте и, казалось, не хотел никак отойти от стены.

— Ну вот видите?

— Да, я вижу, — перервал Рославлев, — что вы изо всей силы тянете ее за мундштук; но дело не в том: я очень рад, что вас встретил. Вы, кажется, вчера вызывали меня на дуэль?

— Неужели?.. Может быть, я погорячился... но я, право, не помню.

— Да я не забыл. Выезжайте, сударь, на плотину.

— Помилуйте! что вы хотите делать?

— Ничего. Я хочу вам показать, какого рода дуэли позволительны в военное время. Ну что ж? долго ли мне дожидаться? Да ослабьте поводья, сударь! она пойдет... Послушайте, Блесткин! Если ваша лошадь не перестанет упрямиться, то я сегодня же скажу генералу, как вы исполняете его приказания.

— Однако ж, господин Рославлев, — сказал Блесткин, выехав на плотину, — позвольте вам заметить: этот начальнический тон...

— Не о тоне речь, сударь. Вы посланы к стрелкам, я также: не угодно ли вам прогуляться со мною по нашей цепи.

— Помилуйте! мы оба верхами.

— Так что ж!

— Все неприятельские стрелки станут в нас метить.

— В том-то и дело. Ведь вы сами вызвали меня на дуэль. Правда, мы не будем стрелять друг в друга; но это ничего: за нас постараются французы.

— Помилуйте, что это за дуэль?

— Мне некогда вам доказывать, что этот поединок стоит того, который вы мне вчера предлагали. Извольте ехать.

— Но, господин Рославлев...

— Ни слова более! или я стану везде и при всех называть вас трусом. Мне кажется, ваша лошадь не очень боится шпор. Позвольте! — Рославлев ударил нагайкою лошадь Блесткина и выскакал вместе с ним на другой берег речки.

Перед ними открылось обширное поле, усыпанное французскими и нашими стрелками; густые облака дыма стлались по земле; вдаль, на возвышенных местах, двигались неприятельские колонны. Пули летали по всем направлениям, жужжали, как пчелы, и не прошло полминуты, одна пробила навывлет фуражку Рославлева, другая оторвала часть воротника Блесткиной шинели.

— Вперед, сударь, вперед! — кричал Рославлев, понукая нагайкою лошадь несчастного князя, который, бледный как полотно, тянул изо всей силы за мундштук. — Прошу не отставать; вот и наша цепь. Эй, служба! — продолжал он, подзывая к себе солдата, который заряжал ружье, — где капитан Зарядьев?

— Вон в этих кустах, ваше благородие!

— Позови его сюда. А мы с вами, господин Блесткин остановимся здесь, на этом бугорке; отсюда и мы будем приметнее, и нам будет все виднее.

— Помилуйте, Рославлев! — вскричал отчаянным голосом Блесткин, — за что же вы хотите сделать из нас цель для французов?

— Ого, господин дуэлист! вы трусите? Постойте, я вас отучу храбриться некстати. Куда, сударь, куда? — продолжал Рославлев, схватив за повод лошадь Блесткина. — Я не отпущу вас, пока не заставлю согласиться со мною, что одни ничтожные фанфароны говорят о дуэлях в военное время.

— Я не спорю... может быть...

— Нет, постойте! не может быть; я вам докажу это.

— Боже мой! посмотрите, в нас целят.

— Так что ж? Пускай целят. Не правда ли, что порядочный человек и храбрый офицер постыдится вызывать на поединок своего товарища в то время, когда быть раненым на дуэли есть бесчестие?..

— Ну хорошо, положим, что правда...

— Постойте! Не правда ли, что одному только фанфарону, не понимающему, что такое истинная храбрость, позволительно насмехаться над тем, кто отказывается от дуэли за несколько часов до сражения?

— Конечно, конечно... я согласен... Боже мой! что это?..

— Ничего, это рикошетное ядро. Согласитесь, что тот, кто боится умереть в деле против неприятеля, ищет случая быть раненым на дуэли для того, чтоб пролежать спокойно в обозе во время сражения..

Вдруг шагах в пяти от них раздался пронзительный свист; что-то запрыгало по пенькам и кочкам и обрызгало грязью обоих офицеров.

— Это что такое? — вскричал с ужасом Блесткин.

— Ничего, это картечь. Согласитесь, что Зарецкой должен был отвечать одним презрением на ваш вызов, что ему вовсе не нужно...

— Ах, боже мой! я ранен! — вскричал Блесткин.

— Ничего. Вам оцарапало только щеку и оторвало половину уха. Согласитесь, что Зарецкому вовсе не нужно было доказывать над вами свою храбрость, что он...

— Ради бога, Рославлев!.. Я на все согласен...

— Вот, кажется, идет Зарядьев? Ну, теперь вы можете ехать, только постарайтесь встречаться со мною как можно реже. Я вам скажу откровенно: вы мне гадки. Прощайте! Рославлев выпустил из рук поводья; Блесткин прищипорил свою лошадь и помчался, как из лука стрела, к нашим резервам.

— Эге! — сказал Зарядьев, подойдя к Рославлеву, — кто это дал отсюда такого стречка? Посмотри-ка, словно птица летит.

— Это Блесткин.

— Нет, шутишь? И он здесь был вместе с тобою? Да разве его на аркане сюда притащили?

— Разумеется, поневоле. Я расскажу тебе об этом на просторе, а теперь изволь-ка убираться отсюда с своими стрелками.

— Да, нечего сказать, пора! Нас порядком поубавилось. Эй! барабанщик, сбор!

— Много убито офицеров?

— Да не осталось и половины.

— А что этот молодой прапорщик?.. Как бишь его зовут?.. Такой милый, скромный...

— Сицкой?

— Да.

— Вот здесь в кустах, лежит рядышком с своим братом.

— Убит? Как жаль!

— Ну, братец, как-то бог и остальных вынесет. Ведь как мы начнем ретироваться, так французы нам кланяться не станут; посмотри, какие будут проводы.

— Не беспокойся! Зарецкой с своим эскадроном сделает диверсию и станет прикрывать ваше отступление... Вон видишь? Он заезжает во фланг французским стрелкам.

— Вижу. А видишь ли ты — немного полевее?..

— Что это? Никак, неприятельская конница?

— Да кажется, что так. Нет, братец! Зарецкому будет не до меня. Делать нечего, пришлось одному отгрызаться. Рассыпанные меж кустов и по полю стрелки стали собираться вокруг барабанщика, и Зарядьев, несмотря на сильный неприятельский огонь, командуя как на ученье, свернул человек четыреста оставшихся солдат в небольшую колонну

— Смотрите, — сказал он, — слушать команду, равняться, идти в ногу, а пуще всего не прибавлять шагу. Тихим шагом — марш! Рославлев, который ехал в голове ретирующейся колонны, не спускал глаз с эскадрона Зарецкого.

— Ну, Зарядьев! — сказал он, — помоги бог нашему приятелю! Смотри, смотри! Вон несутся на него французские латники. Боже мой! да их, кажется, эскадрона два или три!

— Не бойся, братец! Бой будет равный. Видишь, один эскадрон принимает направо, прямехонько на нас. Милости просим, господа! мы вас попотчеваем! Смотри, ребята! без приказа не стрелять, задним шеренгам передавать передней заряженные ружья; не торопиться и слушать команды. Господа офицеры! прошу быть внимательными. По первому взводу строй каре!

В одну минуту из небольшой густой колонны составилось порядочное каре, которое продолжало медленно подвигаться вперед. Меж тем неприятельская конница, как громовая туча, приближалась к отступающим. Не доехав шагов полтораста до каре, она остановилась, раздалась громкая команда французских офицеров, и весь эскадрон латников, подобно бурному потоку, ринулся на небольшую толпу бесстрашных русских воинов.

— Погодите, голубчики! — сказал Зарядьев, — мы вас шарахнем! Каре, стой! Вполоборота налево... первый плутонг — клац-пли!

Густое облако дыма скрыло на минуту неприятельскую кавалерию; но, по-видимому, этот первый залп не очень ее расстроил, и когда дым рассеялся, то французские латники были уже не далее пятидесяти шагов от каре.

— Третий плутонг, — скомандовал Зарядьев, — клац-пли! Пятой плутонг — клац-пли! Я думаю, — продолжал он, — этого будет с них довольно.

В самом деле, когда можно стало различать сквозь дым окружные предметы, Рославлев увидел, что неприятельской эскадрон, совершенно расстроенный, принял направо, оставив на одном месте более пятидесяти убитых лошадей и солдат.

— Ну, это дело кончено! — сказал Зарядьев. — Теперь вперед. Во фрунт — марш!

— Ай да молодец! — вскричал Рославлев. — Славно отделался!

— Отделался, да не совсем, — перервал капитан с приметным неудовольствием. — Посмотри-ка! кто это заезжает к нам в тыл?

— Еще конница?

— То-то и дело, что нет — провал бы ее взял, проклятую! Так и есть! конная артиллерия. Слушайте, ребята! если кто хоть на волос высунется вперед — боже сохрани! Тихим шагом!.. Господа офицеры! идти в ногу!.. Левой, правой!.. раз, два!..

Три ядра, одно за другим, прогудели над головами солдат; четвертое попало в самую средину каре.

— Не прибавляй шагу! — закричал Зарядьев. — Примкни! Передний фас, равняйся!.. В ногу!.. Заболтали!.. Вот я вас... Стой!

Каре остановилось; еще несколько ядер выхватило человек пять из заднего фрунта, который приметным образом начал колебаться.

— Не шевелиться! — закричал громовым голосом Зарядьев, — а не то два часа продержу под ядрами. Унтер-офицеры, на линию! Вперед — равняйся! Стой!.. Тихим шагом — марш!

— Послушай, Зарядьев! — сказал вполголоса Рославлев, — ты, конечно, хочешь показать свою неустрашимость: это хорошо; но заставлять идти в ногу, выравнивать фронт, делать почти ученье под выстрелами неприятельской батареи!.. Я не назову это фанфаронством, потому что ты не фанфарон; но, воля твоя, это такой бесчеловечной педантизм...

— Эх, братец! убирайся к черту с своими французскими словами! Я знаю, что делаю. Тот, любезный, ты еще молодец! Когда солдат думает о том, чтоб идти в ногу да равняться, так не думает о неприятельских ядрах.

— Положим, что так; но для чего вести их тихим шагом?

— А ты бы, чай, повел скорым? Нет, душенька! от скорого шагу до беготни недалеко; а как побегут да нагрянет конница, так тогда уже поздно будет командовать. Однако ж взгляни-ка налево: кажется, наш приятель Зарецкой делает то же, что мы. В самом деле, Зарецкой, атакованный двумя эскадронами латников, после жаркой схватки скомандовал уже: «По три налево кругом — заезжай!» — как дивизион русских улан подоспел к нему на помощь. В несколько минут неприятельская кавалерия была опрокинута; но в то же самое время Рославлев увидел, что один русской офицер, убитый или раненый, упал с лошади.

— Боже мой! — вскричал он, — это, кажется, Зарецкой? Так точно, это его серая лошадь!..

— И, братец! — перервал Зарядьев, — мало ли серых лошадей... Да постой, куда ты? Но Рославлев, не слушая его слов, приударил нагайкою свою лошадь и полетела ту сторону, где происходило кавалерийское дело.

Когда Рославлев стал приближаться к нашей коннице, то неприятельская, подкрепленная свежими войсками, построилась снова в боевой порядок, и между обеих кавалерийских колонн начали разъезжать и показывать свое удалство фланкеры обеих сторон. Один французский конной егерь, сшибя с лошади сабельным ударом русского гусара, подскакал шагов на десять к Рославлеву и выстрелил по нем из пистолета. Сгоряча Рославлев едва почувствовал, что ему как будто бы обожгло левую руку; он подъехал к гусарам, и первый офицер, его встретивший, был Зарецкой.

— Слава богу! — вскричал Рославлев, — ты жив! А мне показалось издали...

— Да, Владимир! я жив и даже не ранен; но поручика моего французы отправили на тот свет. Жаль! славный был малой. Да постой-ка: что у тебя рука? Ты ранен.

— Ранен? неужели?

— Да, и, кажется, не на шутку; надобно скорей перевязать твою руку.

— Сейчас прискакал с приказом адъютант, — сказал уланской ротмистр, подъехав к гусарам. — Нам велено отретироваться за передовую нашу линию.

— Эй, Трощенко! — закричал Зарецкой, — труби аппель! (сбор! (от фр. *appel*!)) Да, кажется, и французы устали уж драться, — продолжал он, посматривая вперед, — их цепь начинает очень редеть, и канонада почти совсем утихла.

— На нашем фланге утихла, — прибавил улан, — а слышите ли, на левом какая еще идет жарня?

Гусарской эскадрон примкнул к уланам, переправился, не будучи преследуем неприятелем, через речку в то самое время, как Зарядьев, потеряв еще несколько солдат, присоединился благополучно к своей колонне. Зарецкой, сдав на несколько времени команду старшему по себе, проводил Рославлева до обоза, расположенного в полуверсте от наших резервов. На каждом шагу встречались им раненые; все лекаря были заняты. Прождав около четверти часа подле огонька, разложенного между фур, Зарецкой вскричал наконец с нетерпением:

— Да что ж это до сих пор не отыщут нашего полкового лекаря? Я боюсь, не раздроблена ли у тебя кость!

— А вот увидим-с, — сказал, подходя к ним, человек небольшого роста, с широким красным лицом и прищуренными глазами. — Позвольте-с!

— Насилу пришел! — сказал Зарецкой. — Мы с полчаса тебя дожидаемся.

— Сейчас, сударь, сейчас! Что, батюшка, Владимир Сергеевич, и вас зацепило? Эге-ге!.. подле самого локтя!.. Постойте-ка... Ого-го!.. Навылет! Ну, изрядно-с! Да не извольте скидать сюртука; мы лучше распорем рукав. Эй, Швалев! — продолжал он, обращаясь к полковому фельдшеру, который стоял позади его с перевязками, — разрежь рукав, а я меж тем приготовлю инструменты.

— А что? — спросил Зарецкой, — разве ты думаешь, что надобно будет?..

— Не могу доложить-с, — отвечал лекарь, перебирая свой хирургический портфель, — а вряд ли дело обойдется без ампутации! Да не беспокойтесь, я взял новые инструменты: это минутное дело.

— Помилуй, братец! — вскричал Зарецкой, — что у тебя за страсть резать руки? Будет в тебя: я думаю, сегодня ты их с полдюжины отрезал.

— С полдюжины?.. Нет, сударь! прошу не прогневаться, — возразил с гордостью обиженный хирург, — поболее будет полдюжины! Швалев! сколько мы сегодня отпилили рук?

— Одиннадцать, ваше благородие!

— Врешь, дурак! Двенадцать рук и три ноги; всего пятнадцать операций в один день.

Нечего сказать, славная практика-с! Ну, Владимир Сергеевич, позвольте теперь. Да не бойтесь, я хочу только зондировать вашу рану.

После минутного молчания, в продолжение которого Зарецкой не спускал глаз с своего друга, лекарь объявил, что, по-видимому, пуля не сделала никакого важного повреждения.

— Ну, Владимир Сергеевич, — прибавил он, — поздравляю вас! Кажется, вы останетесь с рукою, а если б на волосок пониже, то пришлось бы пилить... Впрочем, это было бы короче — минутное дело; да оно же и вернее.

— Спасибо, Иван Иванович! — сказал, улыбаясь, Рославлев. — Так и быть, я уж рискну остаться с рукою.

— Как угодно-с. Только я советую вам отсюда уехать. Во всяком случае, рана ваша требует частой перевязки, а мы двух дней не постоим на одном месте, так трудненько будет-с наблюсти аккуратность.

— В самом деле, — сказал Зарецкой, — ступай лечиться к своей невесте. Видишь ли, мое предсказание сбылось: ты явишься к ней с Георгиевским крестом и с подвязанной рукою. Куда ты счастлив, разбойник! Ну, что за прибыль, если меня ранят? К кому явлюсь с распоранным рукавом? Перед кем стану интересничать? Перед кузинами и почтенной моей тетушкой? Большая радость!.. Но вот, кажется, и на левом фланге угомонились. Пора: через полчаса в пяти шагах ничего не будет видно.

Сражение прекратилось, и наш арьергард, отступя версты две, расположился на биваках. На другой день Рославлев получил увольнение от своего генерал и, найдя почтовых лошадей в Вязьме, доехал благополучно до Серпухова. Но тут он должен был поневоле остановиться: рука его так разболелась, что он не прежде двух недель мог отправиться далее, и наконец 26 августа, в день знаменитого Бородинского сражения, Рославлев переменил в последний раз лошадей, не доезжая тридцати верст от села Утешина.

ГЛАВА V

Размытая проливными дождями проселочная дорога, по которой ехал Рославлев вместе со своим слугою, становилась час от часу тяжелее, и, несмотря на то, что они ехали в легкой почтовой тележке, усталые лошади с трудом тащились шагом. Солнце уже садилось, последние лучи его, догорая на ясных небесах, золотили верхи холмов, покрытых желтой нивою. Позади наших путешественников и над их головами не было заметно ни одного облачка; но душный воздух, стеснял дыхание, и впереди, из-за густого леса, подымались черные тучи.

— Ну, сударь, будет гроза! — сказал Егор, поглядывая робко вперед. — Посмотрите, какие оттуда лезут тучи... Ух, батюшки!.. одна другой страшнее!

— Недаром сегодня так парило, — примолвил извозчик. — Вон и ласточки низко летают — быть грозе!

— А далеко ли еще до Утешина? — спросил Рославлев.

— Верст пятнадцать — поболее будет.

— Только-то? — сказал Егор. — Так ступай скорее: долго ли пропахнуть пятнадцать верст.

— И рад бы ехать, да вишь дорога-то какая. Чему и быть: уж с неделю места, дождик так ливня и льет.

— Может быть, впереди дорога лучше.

— Куда лучше! Версты за три до села, слышь ты, так благо, что вовсе проезда нет.

— Да нет ли другой дороги? — спросил Рославлев.

— Бают, что лесом есть объезд. Кабы было у кого поспросить, так можно бы; а то дело к ночи: пропастишься так, что животу не рад будешь.

— Постой! — вскричал Егор. — Вон там, подле леса, едет кто-то верхом. Догоняй-ка его: может статься, он здешний. Ямщик приударил лошадей, и через несколько минут, подъехал к частому сосновому бору, они догнали верхового, который, в провожении двух борзых собак, ехал потихоньку опушкой леса.

— Владимир Сергеич! — сказал Егор, — да это никак, ловчий Николая Степановича Ижорского? Ну, так и есть, он! Эй, Шурлов! здравствуй, любезный!

Охотник оглянулся, повернул свою лошадь и подъехав к телеге, вскрикнул:

— Что это? Ах, батюшка, Владимир Сергеич это вы?

— Как ты сюда заехал, Архипыч? Зачем? — спросил Егор.

— А вот видишь, зачем, — отвечал Шурлов показывая на двух зайцев, которые висели у него в тороках.

— Ну что, братец, все ли у вас благополучно? — спросил с приметной робостью Рославлев. — Все ли здоровы?..

— Все, слава богу, батюшка, то есть Прасковья Степановна и обе барышни; а об нашем барине мы ничего не знаем. Он изволил пойти в ополчение да и все наши соседи — кто уехал в дальние деревни кто также пошел в ополчение. Ну, поверите ль, Владимир Сергеич, весь уезд так опустел, что хоть шаром покати. А осень-та, кажется, будет знатная! да так-ни за копейку пропадет: и поохотиться некому.

— Послушай, брат, — перервал Егор. — где у вас объезд лесом? А то, говорят, дорога-то к селу больно плоха.

— Да так-то плоха, что и сказать нельзя. Объездим лучше; а все, как станете подъезжать к селу так — не роди мать на свете!.. грязь по ступицу. Вот я поеду подле вас да укажу, где надо своротить с дороги.

Ямщик тронул лошадей, и наши путешественники дотащились шагом вперед.

— Ну, сударь, — продолжал Шурлов — не чаяли мы так скоро вас видеть. Да что это? никак, у вас рука подвязана?

— Да: я ранен.

— Слава богу, что еще в руку, батюшка. А, чай сколько голов легло под одним Смоленском? Ну, сударь, прогневался на нас господь! Тяжкие времена! Вот хоть через наш уезд, уж ехало, ехало смоленских обывателей. Сердечные! в разор разорены! Поглядишь на иного помещика: едет, родимый, с женой да с детьми, а куда? и сам не знает. Верите ль богу, сердце изныло, глядя на их слезы; и как гоняют мимо нас этих пленных французов, то вот так бы их, разбойников, и съел! Эх, сударь!.. А Прасковья-то Степановна... бог ей судья!

— Что такое?..

— Не вам бы слушать, и не мне бы говорить! Ведь она родная сестрица нашего барина, а посмотрите-ка, что толкуют о ней в народе — уши вянут!.. Экой срам, подумаешь!

— Ты пугаешь меня!.. Да что такое?

— Помните ли, сударь, месяца два назад, как я вывихнул ногу — вот, как по милости вашей прометались все. собаки и русак ушел? Ах, батюшка, Владимир Сергеич, какое зло тогда меня взяло!.. Поставил родного в чистое поле, а вы... Ну, уж честил же я вас — не погневайтесь!..

— Хорошо, братец, хорошо; но дело не о том...

— Ну, вот, сударь! Я провалялся без ноги близко месяца; вы изволили уехать; заговорили о французах, о войне; вдруг слышу, что какого-то заповенного француза привезли в деревню к Прасковье Степановне. Болен, дискать, нельзя гнать с другими пленными! Как будто бы у нас в городе и острога нет...

— А, это тот раненый полковник...

— А черт его знает — полковник ли он или нет! Они все меж собой запанибрата; платьем пообносились, так не узнаешь, кто капрал, кто генерал. Да это бы еще ничего; отвели б ему фатеру где-нибудь на селе — в людской или в передбаннике, а то — помилуйте!.. забрался в барские хоромы да захватил под себя всю половину покойного мужа Прасковьи Степановны. Ну, пусть он полковник, сударь; а все-таки француз, все пил кровь нашу; так какой, склад русской барыне водить с ним компанию?

— Послушай, Шурлов: и бог велит безоружного врага миловать, а особенно когда он болен.

— Да уж он, сударь, давным-давно выздоровел. И посмотрите, как отъелся; какой стал гладкой — пострел бы его взял! Бык быком! И это бы не беда: пусть бы он себе трескал, проклятый, да жирел вволю — черт с ним! Да знай сверчок свой шесток; а то срамота-то какая!.. Ведь он ни дать ни взять стал нашим помещиком.

— Как помещиком?

— Да так же! Расхаживает себе по хоромам из комнаты в комнату, курит из господской пенковой трубки, которую покойник берег пуще своего глаза. Подавай ему того, другого; да как покрикивает на людей — словно барин какой. А как пойдет гулять по саду с барыней, так — господи боже мой! подбоченится, закинет голову... Ну черт ему не брат! Я старик, а и во мне кровь закипит всякой раз, как с ним повстречаюсь — так руки и зудят! Ух, батюшки!.. Кабы воля да воля, хватил бы его рожном по боку, так перестал бы кочевряжиться! подумаешь, сколько, чай, сгубил он православных, а русская барыня на руках его носит!

— Полно, Шурлов, не сердись. Если он выздоровел, то, конечно, должно его отправить в город; я по-говорю об этом.

— Поговорите, батюшка, а то, знаете ли? не ладно, видит бог, не ладно! На селе все мужички стали меж собой калякать: «Что, дискать, это? Уж барыня-то наша не изменница ли какая? Поит и кормит злодеев наших». И анагдась так было расшумаркались, что и приказчик места не нашел. «Что, дискать, этому нехристю смотреть в зубы? в колья его, ребята!» Уж кое-как уговорил их батька Василий. Правда, с тех пор француз и носу не смеет на улицу показывать; а барыня стала такая ласковая с отцом Васильем: в неделю-то раз пять он обедает на господском дворе. Ох, батюшка! недаром это! Знаете ли, какой слух недавно прошел в народе?.. Страшно вымолвить!

— А что такое?

— Говорят... не дай господи согрешить напрасно! — продолжал Шурлов, понизив голос.

— Говорят, будто бы старая-то барыня хочет выйти замуж за этого француза.

— Какой вздор!

— Может статья, и вздор, батюшка; да ведь глотки никому не заткнешь; и власть ваша, а дело на то походит. Палагея Николавна — невеста ваша, да она недавно куда ж больна была, сердечная!

— Что ты говоришь?

— Да, сударь, захворала было не на шутку; но теперь, говорят, слава богу, оправилась и стала повеселей. Ольга Николавна, как слышно, не очень изволит жаловать этого

француза; так на кого и подумать, как не на старую барыню. А она же, как говорят, ни пяди от него не отстает и по-французскому вот так и сыпет; день-деньской только и слышат люди: мусьё да мусьё, мадам да мадам, шушуканье да шепотня с утра до вечера. Ну, воля ваша, а это все не к добру! Ведь бес-то силен, батюшка! долго ль до греха! Да и проклятый француз... такая диковинка!.. Видали мы всяких мусьёв и учителей: всё народ плюгавый, гроша не стоит; а этот пострел, кажется, француз, а какой бравый детина!.. что грех таить, батюшка, стоит русского молодца. Вот вы смеетесь, Владимир Сергеич? А смотрите, чтоб не пришлось нам всем плакать.

— Не бойся, Шурлов: ты не знаешь, почему Прасковья Степановна так ласкова с этим французом: ведь они давно уже знакомы.

— Вот что?.. Ну это как будто бы полегче; а все лучше, если бы его отправили к команде. Не то время, Владимир Сергеич! Чай, слышали пословицу: «Дружба дружбой, а служба службой»! А ведь чем же нам и послужить теперь государю, как не тем, чтоб бить наповал эту саранчу заморскую. Был, батюшка, и на их улице праздник: поили их, кормили, приголубливали, а теперь пора и в дубьё принять. Ну вот, Владимир Сергеич, и поворот, — продолжал старый ловчий, остановив свою лошадь. — Извольте ехать прямо по этой просеке до песочного врага; держитесь все правой руки, а там пойдет дорога налево; как поравняетесь с деревянным крестом — извольте знать, что в сосновой роще?

— Как не знать? — подхватил Егор. — Ведь ты говоришь про тот крест, что поставлен над могилою приказчика Терентьича, которого еще в пугачевщину на этом самом месте извели казаки?

— Ну да.

— Эх, брат! место-то неловкое. Говорят, будто бы по ночам видали, что перед крестом теплится: свечка и сидит сам покойник.

— Слышать-то об этом и я слышал, а сам не видывал. От креста вы проедете еще версты полторы, а там выедете на кладбище; вот тут пойдет опять плохая дорога, а против самой кладбищенской церкви — такая трясина, что и боже упаси! Забирайте уж лучше правее; по пашне хоть и бойко, да зато не увязнете. Ну, прощайте, батюшка, Владимир Сергеич!

— А ты куда, Шурлов?

— Я неподалеку отсюда переночую у приятеля на пчельнике. Хочется завтра пообщарить всю эту сторону; говорят, будто бы здесь третьего дня волка видели. Прощайте, батюшка! с богом! Да поторапливайтесь, а не то гроза вас застигнет. Посмотрите-ка, сударь, с полуден какие тучи напирают!

В самом деле, впереди все небо подернулось черными тучами, изредка сверкала молния, и хотя отдаленный гром едва был слышен, но листья шевелились на деревьях и воздух

становился час от часу душнее. Шурлов повернул свою лошадь, подкликал собак и пустился рысью назад по дороге; а наши путешественники въехали в узкую просеку, которая шла в самую средину леса. Казалось, с каждым шагом вперед лес становился все темнее; кругом царствовала мертвая тишина. Несколько минут ничто не нарушало торжественного безмолвия ночи; путешественники молчали, колеса катились без шума по мягкой дороге, и только от времени до времени сухой валежник хрустел под ногами лошадей и раздавался легкой шорох от перебегающего через дорогу зайца.

— Эка ночка! — сказал наконец Егор. — Ну, сударь, дай бог нам доехать благополучно. Не знаю, как вы, а я начинаю побаиваться. Ну, если мы заплутаемся?

Рославлев не отвечал ни слова.

— Ох, эти объезды! — продолжал вполголоса Егор, посматривая робко во все стороны, — терпеть их не могу: того и гляди, заедешь туда, куда ворон и костей не заносил. Здесь, чай, и днем-то всегда сумерки, а теперь... — он поднял глаза вверх, — ни одной звездочки на небе, поглядел кругом — все темно: направо и налево сплошная стена из черных сосен, и кой-где высокие березы, которые, несмотря на темноту, белелись, как мертвецы в саванах. Прошло еще несколько минут, последний свет от потухающей зари исчез на мрачных небесах, покрытых густыми облаками, и наступила совершенная темнота. Ямщик слез с телеги и пошел пешком подле лошадей, которые, робко передвигая ноги, едва подавались вперед. С лишком час наши путешественники тащились шагом. Рославлев молчал, а Егор, чтоб ободрять себя, посвистывал и понукал лошадей.

— Ну, что ж ты заснул, братец! — сказал он наконец ямщику. — Садись да погоняй лошадей-та!

— Да, погоняй!.. А как наедешь на колоду. Вишь темнать какая!

— Так затяни песенку: все-таки будет повеселее.

— Коль ты охоч до песен, так пой сам.

— А ты что?

— Да!.. слышь ты, парень, до песен теперь! Только вынеси господь!.. Туда ли еще едем.

— Что ж ты за ямщик, коли не знаешь, куда едешь? Смотри, брат! Если ты завезешь нас в какую-нибудь трущобу, так добром со мной не разделаешься.

— Ой ли? Грози, брат, богатому — денежку даст, а с меня взятки-та гладки. Ведь я вам баил, что объезда не знаю.

— В самом деле, не заплутались ли мы? — спросил Рославлев.

— Небось, барин! Бог милостив; авось как-нибудь выберемся из леса. Только гроза-та нас застигнет; вон и дождик стал накрапывать.

Крупные дождевые капли зашумели меж листьев; заколебались вершины деревьев; ветер завыл, и вдруг все небо осветилось...

— Господи помилуй! — сказал, перекрестясь, Егор. — Экая молния, так и палит!

Сильный удар грома потряс все окрестности, и проливной дождь, вместе с вихрем, заревел по лесу. Высокие сосны гнулись, как тростник, с треском ломались сучья; глухой гул от падающего рекой дождя, пронзительный свист и вой ветра сливались с непрерывными ударами грома. Наши путешественники при блеске ежеминутной молнии, которая освещала им дорогу, продолжали медленно подвигаться вперед.

— Постой-ка, — сказал ямщик Егору, — уж не овраг ли это? Придержи-ка, брат, лошадей, а я пойду посмотрю.

Он сделал несколько шагов вперед меж частого кустарника и закричал:

— Ну так и есть — овраг!

— Посмотри, Егор! — сказал Рославлев, — мне показалось, что молния осветила вон там в стороне деревянный крест. Это должна быть могила Терентьича — видишь? прямо за этой сосной?

— Вижу, сударь, вижу!.. — отвечал Егор прерывающимся от страха голосом. — А видите ли вы?..

— Что такое?..

— Посмотрите, посмотрите!.. вон опять!.. Господи, помилуй нас грешных!.

Молния снова осветила крест, и Рославлеву показалось, что кто-то в белом сидит на могиле и покачивается из стороны в сторону.

— Что б это значило? — спросил он, слезая с телеги. — Надобно подойти поближе.

— Что вы? Христос с вами! — вскричал Егор, схватив за руку своего господина. — Разве не видите, что это сам покойник в саване.

В продолжение этого короткого разговора все утихло: дождь перестал идти, и ветер замолк. С полминуты продолжалась эта грозная тишина, и вдруг ослепительная молния, прорезав черные тучи, рассыпалась почти над головами наших путешественников. Рославлев и Егор, оглушенные ужасным треском, едва устояли на ногах, а лошади упали на колени. В двадцати шагах от них, против самого креста, задымилась сосна; тысячи огненных змеек пробежали по ее сучьям; она вспыхнула, и яркое пламя осветило всю окрестность. Дождь снова полился, и ветер забушевал между деревьями. Несмотря на просьбы своего слуги, Рославлев подошел к могиле; ни на ней, ни подле нее никого не было; но что-то похожее на человеческой хохот сливалось вдали с воем ветра. Когда он возвратился к телеге, ямщик стоял возле лошадей, которые дрожали, форкали и жались одна к другой.

— Что делать, батюшка? — сказал ямщик, — лошадки-то больно напугались. Смотри-ка, сердечные, так дрожкой и дрожат. Уж не переждать ли нам здесь? А то, сохрани господи, шарахнутся да понесут по лесу, так косточек не сберешь.

— Пожалуй, переждем, — сказал Рославлев. — Кажется гроза начинает утихать.

— Ну что, сударь? — спросил Егор, — вы подходили к могиле?

— Там никого нет.

— Помилуйте! Да разве мы не видали?

— Нам это показалось или, может быть... но в такую грозу... среди леса... Нет, мы, верно, приняли какой-нибудь березовый пенек за человека.

Егор покачал головою и не отвечал ничего. Более получаса продолжалась гроза; наконец все стало утихать; но впереди сверкала молния и сбирались новые тучи. Путешественники двинулись вперед. Узкая, извилистая дорога, по которой и днем не без труда можно было ехать, заставляла их почти на каждом шаге останавливаться; колеса поминутно цеплялись за деревья, упряжь рвалась, и ямщик стал уже громко поговаривать, что в село Утешино нет почтовой дороги, что в другой раз он не повезет никого за казенные прогоны, и даже обещанный рубль на водку утешил его не прежде, как они выехали совсем из леса.

— Вот, кажется, кладбищная церковь? — сказал Рославлев, указывая на белое здание, которое при свите блеснувшей молнии отделилось от группы деревьев, его окружающих.

— А за ним полее, — перервал Егор, — должно быть село. Верно, все спят! Ни одного огонька не видно. Я думаю, уж поздно, сударь?

Рославлев вынул часы, подавил репетицию; она пробила одиннадцать часов и три четверти.

— Скоро полночь.

— Так, верно, теперь и на барском дворе почивают. Не проехать ли нам, сударь, в дом к Николаю Степановичу?!

— Нет: может быть, они еще не ложились. Эй! ямщик! ступай скорей! Я дам еще рубль на водку. Ямщик погнал лошадей; но они едва могли бежать рысью по грязной дороге, которая с каждым шагом становилась хуже. Вот наконец путешественники доехали до кладбища. Поравнявшись с группою деревьев, которая стрех сторон закрывала церковь, извозчик позабыл о том, что советовал им старый ловчий, — не свернул с дороги: колеса телеги увязли по самую ступицу в грязь, и, несмотря на его крики и удары, лошади стали. Пробившись с четверть часа на одном месте, он объявил решительно, что без посторонней помощи они никак не выдерутся из грязи.

— Делать нечего, сударь! — сказал Егор, — оставайтесь здесь, а я сбегаю за народом.

— Ступай на мельницу: она в двух шагах отсюда.

— В самом деле! Ведь на ней живет вся семья Архипа-мельника. Подождите, сударь, мигом слетаю.

У нас в России почти каждая деревня имеет свои изустные предания о колдунах, мертвецах и привидениях, и тот, кто, будучи еще ребенком, жила в деревне, верно, слышал от своей кормилицы, мамушки или старого дядьки, как страшно проходить ночью мимо кладбища, а особенно когда при нем есть церковь. русский крестьянин, надев солдатскую суму, встречает беззаботно смерть на неприятельской батарее или, не будучи солдатом, из одного удалства пробежит по льду, который гнется под его ногами; но добровольно никак не решится пройти ночью мимо кладбищной церкви; а почему весьма натурально, что ямщик, оставшись один подле молчаливого барина, с приметным беспокойством поглядывал на кладбище, которое расположено было шагах в пятидесяти от большой дороги.

Рославлев не понимал сам, что происходило в душе его; он не мог думать без восторга о своем счастье, и в то же время какая-то непонятная тоска сжимала его сердце; горел нетерпением прижать к груди своей Полину и почти радовался беспрестанным остановкам, отдалявшим минуту блаженства, о которой недели две тому назад он едва смел мечтать, сидя перед огнем своего бивака. Мы все любим предаваться надежде, верим слепо ее обещаниям, и почти всегда в ту самую минуту, когда она готова превратиться в сущность, боязнь и сомнение отравляют нашу радость. Не эту ли самую недоверчивость души к земному нашему счастью мы называем предчувствием, разумеется, если последствия его оправдают? В противном случае мы тотчас забываем, что сердце предсказывало нам горе и что это предвещание не сбылось. Погруженный в глубокую задумчивость, Рославлев не замечал, что несколько уже минут ямщик стоял неподвижно на одном месте и, дрожа всем телом, смотрел на кладбищенную церковь.

— Барин! а барин!.. — прошептал он наконец трепещущим голосом, — что это такое?..

— Что ты, братец? — спросил Рославлев.

— Да неужели, батюшка, не слышите? Чу!.. Наше место свято!..

— Постой!.. в самом деле... церковное пение... Где ж это поют?..

— Как где? На кладбище. Вон опять!.. С нами крестная сила!.. Ох, неловко, кормилец!..

— Может быть, похороны?..

— Да разве, батюшка, по ночам кого отпевают?

— Это в самом деле странно!.. Побудь у лошадей! — сказал Рославлев, слезая с телеги и взяв под плечо свою саблю.

— Ах, батюшка барин!.. да как же я останусь-то один?

— Небось, братец: мертвецы через дорогу не перебегают, — сказал с улыбкою Рославлев.

— Глядь-ка, барин!.. — закричал ямщик, — глядь! вон и огонек в окне показался — свят, свят!.. Ух, батюшки!.. Ажно мороз по коже подирает!.. Куда это нелегкая его понесла? — продолжал он, глядя вслед за уходящим Рославлевым. — Ну, несдобровать ему!.. Экой угар, подумаешь!.. И молитвы не творит!..

Рославлев перелез через плетень, которым обнесено было кладбище. С трудом пробираясь между могил, он не слышал уже пения, но видел ясно, что внутренность церкви освещена; ему показалось даже, что в одном углу церковного погоста что-то чернелось и раздавался шорох, похожий на топот лошадей, которые не стоят смирно на одном месте. Чтоб заглянуть во внутренность церкви, надобно было непременно взойти на высокую паперть



по крутой и узкой лестнице. Едва он успел шатнуть на первую ступеньку, как вдруг у самых ног его кто-то прохрипел диким голосом: «Тише ты! Не дави живых людей; я еще не умерла». Рославлев невольно отскочил назад и схватился за рукоятку своей сабли; но в ту же самую минуту блеснула молния и осветила сидящую на лестнице женщину в белом сарафане, с распущенными по плечам волосами. Она щелкала зубами, и глаза ее сверкали ужасным образом.

— Это ты, Федора? — сказал Рославлев, узнав сумасшедшую. — Что ты здесь делаешь?

— Вестимо что: пришла на похороны.

— Какие похороны?..

— Погляди в окно, так сам увидишь. Чу!..

слышишь? Поют со святыми упокой.

— Да, точно поют! Но это совсем не похоронный напев... напротив... мне кажется... — Рославлев не мог кончить: невольный трепет пробежал по всем его членам. Так он не ошибается... до его слуха долетели звуки и слова, не оставляющие никакого сомнения...

— Боже мой! — вскричал он, — это венчальный обряд... на кладбище... в полночь!.. Итак, Шурлов говорил правду... Несчастная! что она делает!..

— Те!.. тише!.. — перервала безумная. — Не кричи! помешаешь отпевать!.. Чу! слышишь, затянули вечную память!.. Да стой! куда ты? — продолжала она, схватив за руку Рославлева. — Подождем здесь; как вынесут, так мы проводим ее до могилы.

Рославлев, от которого сумасшедшая не отставала, вбежал на паперть и остановился у первого окна. Внутренность церкви была слабо освещена несколькими свечами, поставленными в паникадила; впереди амвона, перед наложником, стоял священник в полном облачении; против него жених и невеста, оба в венцах; а позади, подле самого окна, две женщины, закутанные в салоны. Казалось, одна из них горько плакала. Рославлев, к которому они так же, как невеста и жених, стояли спиной, не мог этого видеть, но слышал ее рыдания. Эти две женщины, без сомнения, Полина и Оленька. В женихе нетрудно было узнать по иностранному мундиру пленного французского полковника; но его невеста?.. Она не походит на Лидину... нет!.. эта тонкая талия, эти распущенные по плечам локоны! Боже мой!.. неужели Оленька?.. Вот священник берет жениха и невесту за руки, чтоб обвести вокруг наложника... они идут... поравнялись с царскими воротами... остановились... вот начинают доканчивать круг... свет от лампы, висящей перед Спасителем, падает прямо на лицо невесты... «Милосердый боже!.. Полина!!!» В эту самую минуту яркая молния осветила небеса, ужасный удар грома потряс всю церковь; но Рославлев не видел и не слышал ничего; сердце его окаменело, дыхание прервалось... вдруг вся кровь закипела в его жилах; как испуганный, он бросился к церковным дверям: они закрыты. В совершенном неистовстве, скрежеща зубами, он ухватился за железную скобу; но от сильного напряжения перевязки лопнули на руке его, кровь хлынула ручьем из раны, и он лишился всех чувств.

Обряд венчанья кончился; церковные двери отворялись. Впереди молодых шел священник в провожании дьячка, который нес фонарь; он поднял уже ногу, чтоб переступить через порог, и вдруг с громким восклицанием отскочил назад: у самых церковных дверей лежал человек, облитый кровью; в головах у него сидела сумасшедшая Федора.

— Господи помилуй! Что это такое? — сказал священник. — Эй, Филипп! посвети!.. Боже мой! — продолжал он, — русский офицер!

— И весь пол в крови! — воскликнула Полина.

— Так что ж? — сказала Федора, устремив сверкающий взор на Полину. — Небось, ступай смелее! Чего тебе жалеть: ведь это русская кровь!

Дьячок нагнулся и осветил фонарем бледное лицо Рославлева.

— Праведный боже!.. Рославлев!.. — вскричала Оленька.

— Рославлев! — повторила ужасным голосом Полина. — Он жив еще?..

— Нет, умер! — перервала безумная. — Милости просим на похороны. — И ее дикой хохот заглушил отчаянный вопль Полины.

ГЛАВА VI

Часу в шестом утра, в просторной и светлой комнате, у самого изголовья постели, на которой лежал не пришедший еще в чувство Рославлев сидела молодая девушка; глубокая, неизъяснимая горесть изображалась на бледном лице ее. Подле нее стоял знакомый уже нам домашний лекарь Ижорского; он держал больного за руку и смотрел с большим вниманием на безжизненное лицо его. У дверей комнаты стоял Егор и поглядывал с беспокойным и вопрошающим видом на лекаря.

— Слава богу! — сказал сей последний, — пульс начинает биться сильнее; вот и краска в лице показалась; через несколько минут он должен очнуться.

— Но как вы думаете, — спросила робким голосом молодая девушка, — этот обморок не будет ли иметь опасных последствий?

— Теперь ничего нельзя сказать, Ольга Николаевна! Если причиною обморока была только одна потеря крови, то несколько дней покоя... но вот, кажется, он приходит в себя...

— Я не могу долее здесь оставаться, — сказала Оленька, вставая, — но ради бога! если он будет чувствовать себя дурно, пришлите мне сказать... Несчастный!.. — Она закрыла руками лицо свое и вышла поспешно из комнаты.

— Побудь с своим барином, — сказал Егору лекарь, уходя вслед за Оленькой, — а я сбегая в аптеку и приготовлю лекарство, которое подкрепит его силы.

Рославлев открыл глаза, привстал и с удивлением посмотрел вокруг себя.

— Что это?.. — спросил он тихим голосом. — Где я?

— В доме у Николая Степановича, сударь! — отвечал Егор, подойдя к постели.

— У какого Николая Степановича?..

— Ижорского, сударь!

— Ижорского?.. — повторял Рославлев. — Ах да, знаю!.. Ижорского!.. Но зачем мы здесь?.. когда приехали?.. Я ничего не помню... Постой!.. Мне кажется, вчера я заснул в телеге!.. Да! точно так!.. гроза... кладбище... сумасшедшая Федора... Боже мой!.. свадьба! Ах, Егор! какой я видел страшный сон!

Егор поглядел с сожалением на своего господина и, покачав печально головою, сказал:

— Что об этом говорить, сударь! успокойтесь! Вы не очень здоровы.

— Кто? я? Да! я чувствую какую-то слабость... Но я не могу понять, для чего мы здесь, а не там?.. Постой! мне помнится, что лошади стали... ты пошел за людьми... да, да! я не во сне это видел, — и вдруг мы очутились здесь. Да что ж ты молчишь?

— То-то, сударь! вы изволите смеяться над нашим братом: и дурачье-то мы, и всякому вздору верим; а кабы вы сами не ходили вчерась на кладбище...

— Как! — вскричал Рославлев, — так я был на кладбище?.. Я видел это не во сне?.. Ну что же? говори, говори!.. — продолжал он, вскочив с постели; бледные щеки его вспыхнули, глаза сверкали; казалось, все силы его возвратились.

— Успокойтесь, сударь! — сказал Егор. — Присядьте! я все вам расскажу. — Все?

— Да, сударь, все, что знаю. Вчера ночью, против самой кладбищной церкви, наши лошади стали, а телега так завязла в грязи, что и колес было не видно. Я пошел на мельницу за народом, а вы остались на дороге одни с ямщиком.

— Да, точно так. Говори, говори!..

— Я пришел на мельницу; уж стучал, стучал, насилу достучался; видно, Архип хватил за ужином через край бражки. Я собирался уж выбить окно... глядь! слава богу, проснулись. Пока я им толковал, в чем дело, пока вздули огонь и Архип с своими ребятами одевался, прошло этак с полчаса времени; Архип засветил фонарь, и мы вчетвером отправились на дорогу. Приходим — телега стоит на прежнем месте, а ни вас, ни ямщика нет. Что за причина такая?.. Мы принялись кричать: смотрим, лезет кто-то из-за куста... ямщик! лица нет на парне, дрожкой дрожит. «Что ты, братец? — спросил я, — где барин?» Вот он собрался с духом и стал нам рассказывать; да видно, со страстей язык-то у него отнялся: уж он мямлил, мямлил, насилу поняли, что в кладбищной церкви мертвецы пели всенощную, что вы пошли их слушать, что вдруг у самой церкви и закричали и захохотали; потом что-то зашумело, покатилося, раздался свист, гам и конской топот; что один мертвец, весь в белом, перелез через плетень, затянул во все горло: со святыми упокой — и побежал прямо к телеге; что он, видя беду неминуемую, кинулся за куст, упал ничком наземь и вплоть до нашего прихода творил молитву. Ну, сударь, грех таить, от этих слов у всех нас волосы стали дыбом. Что делать? Идти искать вас на кладбище?.. Вчетвером я и самого черта не испугаюсь; да Архип-то стал переминаться ребята его также сробели: нейдут, да и только! Вот я подумал, перекрестился и только что хотел пуститься один на волю божью, как вдруг слышим — кто-то скачет к нам по дороге. Подскакал — гляжу: Иван Петров, слуга Прасковьи Степановны. Он сказал нам, что вы здесь, что вас нашли у кладбищной церкви, что вы лежите без памяти; а как нашли? кто нашел? толку не мог добиться. Вот, сударь, все, что я знаю. В продолжение сего разговора Рославлев несколько раз менялся в лице.

— Итак... — сказал он. — Итак... нет сомненья... все то, что я видел...

— А что вы видели, сударь? — спросил с любопытством Егор.

— Я видел мою невесту...

— Вашу невесту? В кладбищной церкви! в полночь? Христос с вами, сударь! Что вы? Вам померещилось!

— В венце перед наложником...

— Господи помилуй!.. Да это демонское наваждение...

— Ах, Егор! если б в самом деле какой-нибудь злой дух...

— А что ж вы думаете? Ведь сатана хитер, сударь, хоть кого из ума выведет. Ну, помилуйте, как могли вы видеть Палагею Николаевну на кладбище, когда она нездорова и лежит в постеле?

— Что ты говоришь?.. Почему ты знаешь?

— Сию минуту сестрица ее изволила говорить с лекарем.

— Оленька здесь? Где ж она?

— Уехала домой. Она всю ночь сидела подле вашей кровати; а уж как плакала! Господи боже мой!.. откуда слезы брались! Она изволила оставить вам письмо.

— Письмо? Подай, подай!..

Егор взял со стола запечатанное письмо и подал его своему господину.

— От Полины!.. — вскричал Рославлев. Он, сорвав печать, развернул дрожащей рукою письмо. Холодный пот покрыл помертвевшее лицо его, глаза искали слов... но сначала он не мог разобрать ничего: все строчки казались перемешанными, все буквы не на своих местах, наконец с величайшим трудом он прочел следующее:

«Вы должны ненавидеть... нет! я не достойна вашей ненависти: это чувство слишком близко любви; вы должны, вы имеете полное право презирать меня. Не смею надеяться, что, открыв вам ужасную тайну, которую думала унести с собой в могилу, я заставлю вас пожалеть обо мне. Я вас не знала еще, Рославлев, когда полюбила того, кому принадлежу теперь навсегда. Он любил меня, но тогда он не мог еще быть моим мужем. Я не могла даже мечтать, что встречу с ним в здешнем мире, и, несмотря на это, желания матушки, просьбы сестры моей, ничто не поколебало бы моего намерения остаться вечно свободною; но бескорыстная любовь ваша, ваше терпенье, постоянство, желание видеть счастливым человека, к которому дружба моя была так же беспредельна, как и любовь к нему, — вот что сделало меня виновною. Безумная! я обманывала сама себя! Я думала, что, видя вас благополучным, менее буду несчастлива; что, произнеся клятву любить вас одного, при помощи божией, я забуду все прошедшее; что образ того, кто преследовал меня наяву и во сне, о ком я не могла и думать без преступления, изгладится навсегда из моей памяти. Я согласилась принадлежать вам и, клянусь богом, не изменила бы моему

обещанию, если бы он встретился со мною во всем прежнем своем блеске, благолучный, одаренный всем, чему завидуют в свете. Но он явился предо мною покрытый ранами, несчастный, всеми оставленный и с прежней любовью в сердце! Казалось, сами небеса желали соединить нас — он мог располагать своей рукою, и вы, Рославлев, вы сами показали ему дорогу в дом наш!..»

— Довольно! — вскричал Рославлев, сжимая с судорожным движением в руке своей измятое письмо. — Чего еще мне надобно? Егор! лошадей!

— Как, сударь? Вы хотите ехать?

— Да!

— Не видеv вашей невесты?

— Молчи!

— Помилуйте, сударь! Как вам ехать сегодня?

— Да! сегодня... сейчас... сию минуту!..

— Но куда, сударь? К нам в деревню?

— Нет! здесь мне душно... Дальше, дальше! Туда, где я могу утонуть в крови злодеев-французов.

— Говорят, сударь, что они недалеко от Москвы.

— Недалеко? Итак, в Москву!

— А рана ваша?

— Не бойся! Я умру не от нее. Ступай скорее! Ямщик, который нас привез, верно, еще не уехал. Чтоб чрез полчаса нас здесь не было. Ни слова более! — продолжал Рославлев, замечая, что Егор готовился снова возражать, — я приказываю тебе! Постой! Вынь из шкатулки лист бумаги и чернильницу. Я хочу, я должен отвечать ей. Теперь ступай за лошадьми, — прибавил он, когда слуга исполнил его приказание.

— Но если ямщик попросит двойные прогоны?

— Дай вчетверо, но чтоб чрез полчаса нас здесь не было.

Егор вышел, а Рославлев начал писать следующее: «Я не дочитал письма вашего. Вы графиня Сеникур, жена пленного француза, — на что мне знать остальное? Не о себе хочу я говорить — моя участь решена: смерть возвратит мне спокойствие; она потушит адское пламя, которое горит теперь в груди моей; но вы!.. Слушайте приговор ваш! Вы не умрете ни от стыда, ни от раскаяния; проклятие всех русских, которое прогремит над преступной главой вашей, не убьет вас — нет! вы станете жить. Прижав к сердцу обгавленную кровью русских, кровью братьев ваших, руку мужа, вы пойдете вместе с ним по пути, устланному трупами ваших соотечественников. Торжествуйте вместе с ним каждую победу злодеев наших! Забудьте, что вы русская, забудьте бога... Да! вы должны выбирать одно из двух:

или вовсе забыть его, или молить, чтоб он помог французам погубить Россию. В этой смертной борьбе нет середины или мы, или французы должны погибнуть; а вы — жена француза! Умрите, несчастная, умрите сегодня, если можно, — я желаю этого. Да, Полина, я молю об этом бога... Я чувствую... да, я чувствую, что еще люблю вас!...» Рославлев перестал писать; крупные слезы покатались градом по лицу его. — А! Владимир Сергеевич! — сказал лекарь, входя в комнату, — вы уж и встали? Ну что, как вы себя чувствуете?

Рославлев закрыл платком глаза и не отвечал ни слова. Лекарь взял его за руку и, поглядев на него с состраданием, повторил свой вопрос.

— Я здоров, — отвечал Рославлев, — и сейчас еду.

— Что вы? Как это можно? У вас жар.

— Вы ошибаетесь, — перервал Рославлев, положив руку на грудь свою.

— Здесь холодно, как в могиле.

— Вам надобен покой.

— Не бойтесь! — сказал с горькой улыбкою Рославлев. — Я найду его.

— Но по крайней мере, примите это лекарство и дайте мне перевязать вашу руку.

— И, полноте! на что это? Я могу еще владеть саблею. Благодаря бога правая рука моя цела; не бойтесь, она найдет еще дорогу к сердцу каждого француза. Ну что? — продолжал Рославлев, обращаясь к вошедшему Егору. — Что лошади?

— Привел, сударь!

Рославлев встал и, шатаясь, подошел к лекарю.

— Вот письмо к Палагее Николаевне, — сказал он. — Потрудитесь отдать его. Прощайте!

Лекарь взял молча письмо и вышел вслед за Рославлевым на крыльцо

— Прощайте, прощайте... — повторял Рославлев, садясь в телегу. — Скажите ей... Нет! не говорите ничего!..

— Я сегодня поутру ее видел, — сказал вполголоса лекарь, — и если б вы на нее взглянули... Ах, Владимир Сергеевич! она несчастнее вас!

— Слава богу! Итак, этот француз не совсем еще задушил в ней совесть!

— Я лекарь, Владимир Сергеевич; я привык видеть горесть и отчаяние; но клянусь вам богом, в жизнь мою не видывал ничего ужаснее. Она в полной памяти, а говорит беспрестанно о церковной паперти; видит везде кровь, сумасшедшую Федору; то хохочет, то стонет, как умирающая; а слезы не льются...

— Ступай! — закричал Рославлев. Извозчик тронул лошадей. — Нет, нет! постой! Итак, она очень несчастлива? — продолжал он, обращаясь к лекарю, — Очень?.. Послушайте! скажите ей, что я здоров... что она.. подайте назад мое письмо.

Лекарь подал ему письмо; Рославлев схватил его, изорвал и закричал извозчику:

— Пять рублей на водку, но до самой станции вскачь — пошел!

Менее чем в два часа примчались они на первую станцию. Рославлев, несмотря на убеждения своего слуги, не хотел отдохнуть; он уверял, что чувствует себя совершенно здоровым; но его пылающие щеки, дикой, беспокойный взгляд — все доказывало, что сильная горячка начинает свирепствовать в крови его. Переменив лошадей, они поскакали далее. Не более двадцати верст оставалось до Москвы. Они не обогнали никого, но почти на каждой версте встречались с ними проезжие; не слышно было веселых песен извозчиков; молча, как в похоронном ходу, тянулись по большой Московской дороге целые обозы экипажей. Многие из проезжающих, идя задумчиво: подле карет своих, обращали от времени до времени свой тоскливый взгляд туда, где позади их осталась опустевшая Москва. Быть может, они в последний раз простились с нею. Их пасмурные лица казались еще грустнее от противоположности с веселыми и беззаботными лицами детей, которые, выглядывая из дорожных экипажей, с шумной радостью любовались открытыми полями и зеленеющим лесом.

— Что это, барин? — сказал Егор, — никак, из Москвы все выбирают? Посмотрите-ка вперед — повозок-то, карет!.. Видимо-невидимо! Ох, сударь! знать, уже французы недалеко от Москвы.

— Ах, как бы я желал этого! — сказал Рославлев.

— Что вы? Христос с вами! Эх, барин, барин! не хороши у вас глаза: вы точно нездоровы.

— И, врешь! я совершенно здоров; но мне душно... здесь все так тихо, мертво... В Москву, скорей в Москву!.. Там наши войска, там скоро будут французы... там, на развалинах ее, решится судьба России... там... Да, Егор! там мне будет легче... Пошел!..

Егор покачал печально головою.

— Послушайте, Владимир Сергеич, — сказал он, — не приостановиться ли нам где-нибудь? Мне кажется, у вас жар.

— Да! Мне что-то душно, жарко; здесь и воздух меня давит.

— Вот ямщик будет спускать с горы, а вы пройдитесь пешком, сударь; это вас поосвежит.

Рославлев слез с телеги и, пройдя несколько шагов по дороге, вдруг остановился.

— Слышишь, Егор? — сказал он, — выстрел, другой!..

— Верно, кто-нибудь охотится.

— — Еще!.. еще!.. Нет, это перестрелка!.. Где моя сабля?

— Помилуйте, сударь! Да здесь слыхом не слыхать о французах. Не казаки ли шалят?.. Говорят, здесь их целые партии разъезжают. Ну вот, изволите видеть? Вон из-за леса-то показались, с пиками. Ну, так и есть — казаки.

С полверсты от того места, где стоял Рославлев, выехали на большую дорогу человек сто казаков и почти столько же гусар. Впереди отряда ехали двое офицеров: один высокого роста, в белой кавалерийской фуражке и бурке; другой среднего роста, в кожаном картузе и зеленом спензере (куртка (от англ. spencer)) с черным артиллерийским воротником; седло, мундштук и вся сбруя на его лошади были французские. Когда отряд поравнялся с нашими проезжими, то офицер в зеленом спензере, взглянув на Рославлева, остановил лошадь, приподнял вежливо картуз и сказал:

— Если не ошибаюсь, мы с вами не в первый раз встречаемся?

Рославлев тотчас узнал в сем незнакомце молчаливого офицера, с которым месяца три тому назад готов был стреляться в зверинце Царского Села; но теперь Рославлев с радостью протянул ему руку: он вполне разделял с ним всю ненависть его к французам

— Ну вот, — продолжал артиллерийской офицер, — предсказание мое сбылось вы в мундире, с подвязанной рукой и, верно, теперь не станете стреляться со мною, чтоб спасти не только одного, но целую сотню французов.

— О, в этом вы можете быть уверены! — отвечал Рославлев, и глаза его заблестали бешенством. — Ах! если б я мог утонуть в крови этих извергов!..

Офицер улыбнулся.

— Вот так-то лучше! — сказал он. — Только вы напрасно горячитесь: их должно всех душить без пощады; переводить, как мух; но сердиться на них... И, полноте! Сердиться нездорово! Куда вы едете?

— В Москву.

— Если для того, чтоб лечиться, то я советовал бы вам поехать в другое место. Близ Можайска было генеральное сражение, наши войска отступают, и, может быть, дня через четыре французы будут у Москвы.

— Тем лучше! Там должна решиться судьба нашего отечества, и если я не увижу гибели всех французов, то, по крайней мере, умру на развалинах Москвы.

— А если Москву уступят без боя?

— Без боя? Нашу древнюю столицу?

— Что ж тут удивительного? Ведь город без жителей — то же, что тело без души. Пусть французы завладеют этим трупом, лишь только бы нам удалось похоронить их вместе.

— Как? Вы думаете?..

— Да тут и думать нечего. Отпоем за один раз вечную память и Москве и французам, так дело и кончено. Мы, русские, дележа не любим: не наше, так ничье! Как на прощанье зажгут со всех четырех концов Москву, так французам пожива будет небольшая; побарятся, поважничают денька три, а там и есть захочется; а для этого надобно

фуражировать. Милости просим!.. То-то будет потеха! Они начнут рыскать во круг Москвы, как голодные волки, а мы станем охотиться. Чего другого, а за одно поручиться можно: немного из этих фуражиров воротятся во Францию.

— Итак, вы полагаете, что партизанская война...

— Не знаю, что вперед, а теперь это самое лучшее средство поравнять наши силы. Да вот, например, у меня всего сотни две молодцов; а если б вы знали, сколько они передушили французов; до сих пор уж человек по десяти на брата досталось. Правда, народ-то у меня славный! — прибавил артиллерийской офицер с ужасной улыбкою, — всё ребята беспардонные; сантиментальных нет!

— Неужели вы в плен не берете?

— Случается. Вот третьего дня мы захватили человек двадцать, хотелось было доставить их в главную квартиру, да надоело таскать с собою. Я бросил их на дороге, недалеко отсюда.

— Без всякого конвоя?

— И что за беда! Их приберет земская полиция. Ну, что? Вы все-таки поедете в Москву?

— Непременно. Вы можете думать, что вам угодно; но я уверен: ее не отдадут без боя.

Может ли быть, чтоб эта древняя столица царей русских, этот первопрестольный город...

— Первопрестольный город!.. Так что ж? Разве его никогда не жгли и не грабили то поляки, то татары? Пускай потешатся и французы! Прежние гости дорого за это заплатили, поплатятся и эти. Конечно, патриоты вздохнут о Кремле, барыни о Кузнецком мосте, чувствительные люди о всей Москве — расплачутся, разревутся, а там начнут снова строить дома, и через десять лет Москва будет опять Москвою. Да только уж в другой раз французы не захотят в ней гостить. Ну, прощайте!.. А право, я советовал бы вам не ездить в Москву. Вам надо полечиться: лицо у вас вовсе не хорошо.

— Это ничего: два дня покоя, потом сражение под Москвой, и я буду совершенно здоров. Прощайте!

Рославлев сел в телегу и отправился далее. С каждым шагом вперед большая дорога становилась похожее на проезжую улицу: сотни пешеходцев пробирались полями и опереживали длинные обозы, которые медленно тащились по большой дороге. Когда наши путешественники поравнялись с лесом, то Егор заметил большую толпу разного состояния проходящих, которые, казалось, с любопытством теснились вокруг одного места, подле самой опушки леса. Несколько минут он смотрел внимательно в эту сторону, вдруг толпа раздвинулась, и Егор вскричал с ужасом:

— Посмотрите-ка, сударь, посмотрите! Французы!

— Французы! — повторил Рославлев, схватясь за рукоятку своей сабли. — Где?..

— Да разве не видите, сударь? Вон налево-то, подле самого леса.

— Боже мой! — вскричал Рославлев, закрыв рукою глаза. — Боже мой! — повторил он с невольным содроганием. — Я сам... да, я ненавижу французов; но расстреливать хладнокровно беззащитных пленных!.. Нет! это ужасно!..

— И, барин, что об них жалеть! — сказал ямщик, — буяны!.. А кучка порядочная! Посмотрите-ка, сударь, сколько их навалено.

— Проезжай скорей! — закричал Рославлев. — Пошел!

Извозчик нехотя погнал лошадей и, беспрестанно оглядываясь назад, посматривал с удивлением на русского офицера, который не радовался, а казалось, горевал, видя убитых французов. Рославлев слабел приметным образом, голова его пылала, дыхание спиралось в груди; все предметы представлялись в каком-то смешанном, беспорядочном виде, и холодный осенний воздух казался ему палящим зноем.

Через час сверкнул вдали позлащенный крест Ивана Великого, через несколько минут показались главы соборных храмов, и древняя столица, сердце, мать России — Москва, разостлалась широкой скатертью по необозримой равнине, усеянной обширными садами. Москва-река, извиваясь, текла посреди холмистых берегов своих; но бесчисленные барки, плоты и суда не пестрили ее гладкой поверхности; ветер не доносил до проезжающих отдаленный гул и невнятный, но исполненный жизни говор многолюдного города; по большим дорогам шумел и толпился народ; но Москва, как жертва, обреченная на заклятие, была безмолвна. Изредка, кой-где, дымились трубы, и, как черный погребальный креп, густой туман висел над кровлями опустевших домов. Ах, скоро, скоро, кормилица России — Москва, скоро прольются по твоим осиротевшим улицам пламенные реки; святотатственная рука врагов сорвет крест с твоей соборной колокольни, разрушит стены священного Кремля, осквернит твои древние храмы; но русские всегда возлагали надежду на господя, и ты воскреснешь, Москва, как обновленное, младое солнце, ты снова взойдешь на небеса России; а враги твои... Ах! вы не воскреснете, несчастные жертвы властолюбия: воины, поседевшие в боях; юноши, краса и надежда Франции; вы не обнимете родных своих! Ваши кости, рассеянные по обширным полям нашим, запашутся сохою, и долго, долго изустная повесть об ужасной смерти вашей будет приводить в трепет каждого иноземца!

ГЛАВА VII

Рано поутру, на высоком и утесистом берегу Москвы-реки, в том самом месте, где Драгомиловский мост соединяет ямскую слободу с городом, стояли и сидели отдельными группами человек пятьдесят, разного состояния, людей; внизу весь мост был усыпан

любопытными, и вплоть до самой Смоленской заставы, по всей слободе, как на гулянье, шумели и пестрелись густые толпы народные. По Смоленской дороге отступали наши войска, через Смоленскую заставу проезжали курьеры с известиями из большой армии; а посему все оставшиеся жители московские спешили к Драгомиловскому мосту, чтоб узнать скорее об участи нашего войска. Последствия Бородинского сражения были еще неизвестны; но грозные слухи о приближении французов к Москве становились с каждым днем вероподобнее. Вот вдали зазвенел колокольчик, раздался шум, по слободе от заставы несется тройка курьерских, народ зашевелился, закипел, толпы сдвинулись, и ямщик должен был поневоле остановить лошадей

— Что вы, ребята? — закричал курьер. — Посторонитесь!

— Нет, нет! — загрели тысячи голосов, — скажи прежде, что наши?

— Вам это объявят.

— Нет! ты едешь из армии — говори!.. Что светлейший?.. что французы?

— Победа! ребята, победа!..

— Победа?.. — повторил народ. — Слава тебе господи!.. К Иверской, православные! к Иверской!.. Пропустите курьера... посторонитесь!.. Победа!.. — Толпа отхлынула, и курьер помчался далее.

Один молодцеватый, с окладистой темно-русой бородою купец, отделясь от толпы народа, которая теснилась на мосту, взобрался прямой дорогой на крутой берег Москвы-реки и, пройдя мимо нескольких щеголевато одетых молодых людей, шепотом разговаривающих меж собою, подошел к старику, с седой, как снег, бородою, который, облокотясь на береговые перила, смотрел задумчиво на толпу, шумящую внизу под его ногами.

— Слышите ли, Иван Архипович, — сказал молодой купец старику, — победа?

— Слышу, батюшка Андрей Васьянович! — отвечал старик, — слышу. Да точно ли так?

— Дай-то господи!.. а что-то не верится. Я сам слышал, как курьер сказал: победа! Слова радостные, да лицо-то у него вовсе не праздничное. Кабы в самом деле заступница помогла нам разгромить этих супостатов, так он не стал бы говорить сквозь зубы, а крикнул бы так, что сердце бы у всех запрыгало от радости. Нет, Иван Архипович! видно, худо дело!..

— Да, батюшка, гнев божий!.. Мы всё твердили, что господь долготерпелив и многомилостив, а никто не думал, что он же и правосуден; грешили да грешили — вот и дождались, что нехотя придет каяться.

— Конечно, Иван Архипыч, в грехах надобно каяться, а все-таки живым в руки даваться не должно; и если Москву будут отстаивать, то я уж, верно, дома не останусь.

— И мои сыновья говорят то же; да, полно, будут ли ее отстаивать? Хоть и в сегодняшней афишке напечатано, что скоро понадобятся молодцы и городские и деревенские, а все заставы отперты, и народ валом валит вон из города. Нет, Андрей Васьянович, несдобровать матушке-Москве: дожили мы опять до татарского погрома.

— А может быть, и до Мамаева побоища. Эх, Иван Архипович, унывать не должно! Да если господь попустит французам одолеть нас теперь, так что ж? У нас благодаря бога не так, как у них, — простору довольно. Погоняются, погоняются за нами, да устанут; а мы все-таки рано или поздно, а свое возьмем.

— Так ты, батюшка, хочешь, если придет беда неминуемая, уйти также из Москвы?

— А что ж? или принимать французов с хлебом да с солью? А вы, Иван Архипович?

— Эх, родимый! куда я потащусь? Старик я дряхлой; да и Мавра-то Андревна моя насилу ноги таскает.

— Конечно; вот я человек одинокой! котомку за плеча, да и пошел куда глаза глядят.

— У меня же есть большая забота, Андрей Васьянович! На кого я покину здесь моего гостя?

— Гостя? какого гостя?

— А вот изволишь видеть: вчера я шел от свата Савельича так около сумерек; глядь — у самых Серпуховских ворот стоит тройка почтовых, на телеге лежит раненый русской офицер, и слуга около него что-то больно суетится. Смотрю, лицо у слуги как будто бы знакомое; я подошел, и лишь только взглянул на офицера, так сердце у меня и замерло! Сердечный! в горячке, без памяти, и кто ж?.. Помнишь, Андрей Васьянович, месяца три тому назад мы догнали в селе Завидове проезжего офицера?

— Который довез вас до Москвы в своей коляске? Как не помнить; я и фамилию его не забыл. Кажется, Рославлев?..

— Да, он и есть! Гляжу, слуга его чуть не плачет, барин без памяти, а он сам не знает, куда ехать. Я обрадовался, что господь привел меня хоть чем-нибудь возблагодарить моего благодетеля. Велел ямщику ехать ко мне и отвел больному лучшую комнату в моем доме. Наш частный лекарь прописал лекарство, и ему теперь как будто бы полегче; а все еще в память не приходит.

— Что ж вы будете делать, если французы войдут в Москву? Ведь его, как пленного офицера, у вас не оставят.

— Уж я обо всем с домашними условился: мундир его припрячем подале, и если чего дойдет, так я назову его моим сыном. Сосед мой, золотых дел мастер, Франц Иваныч, стал было мне отсоветывать и говорил, что мы этак беду наживем; что если французы дознаются, что мы скрываем у себя под чужим именем русского офицера, то, пожалуй,

расстреляют нас как шпионов; но не только я, да и старуха моя слышать об этом не хочет. Что будет, то и будет, а благодетеля нашего не выдадим.

— Сохрани боже выдать! Только напрасно об этом сосед-то ваш знает. Смотрите, чтоб этот Франц Иваныч...

— Нет, Андрей Васьянович! Конечно, сам он от неприятеля не станет прятать русского офицера, да и на нас не донесет, ведь он не француз, а немец, и надобно сказать правду — честная душа! А подумаешь, куда тяжко будет, если господь нас не помилует. Ты уйдешь, Андрей Васьянович, а каково-то будет мне смотреть, как эти злодеи станут владеть Москвою, разорять храмы господни, жечь дома наши...

— Моих замоскворецких домов не сожгут, Иван Архипович!

— А почему так?

— Да потому, что прежде чем французская нога переступит через мой порог, я запалю их сам своей рукою; я уж на всякой случай и смоляных бочек припас. Вчера разговорились со мной об этом молодцы из Каретного ряда и они то же поют. Не много французов станет разъезжать в русских каретах, и если подлинно Москвы отстаивать не будут, хоть то порадует наше сердце, что этот Бонапартый гриб съест. Чай, он теперь рассуждает с своими генералами, какая встреча ему будет; делает раскладку да подводит итоги, сколько надо собрать с нас контрибуции. Дожидайся, голубчик! много возьмешь! поднесем мы тебе хлеб с солью! Разве один Кузнецкой мост выйдет к тебе навстречу да с полсотни таких же шалобаев, как эти молокососы, — прибавил купец, указывая на троих молодых людей, которые вполголоса разговаривали меж собою. — Слышите ль, Иван Архипович? ведь они по-французски говорят.

— И, батюшка, какое нам до этого дело? Видно, магазинчики с Кузнецкого моста, так и говорят по-своему.

— Нет, Иван Архипович! один-то из них русской и наш брат купец — вон что в синем сюртуке. Я уж не в первый раз его вижу. Не знаю, чем он торговал прежде, а теперь, кажется, за дурной взялся промысел. Ну то ли время, чтоб русскому якшаться с французами? А у него другой компании нет. Слышите ли, как он им напевает? и, верно, что-нибудь благое. Отчего они так робко вокруг себя посматривают? Для чего говорят вполголоса? Глядите!.. Вытащил из кармана бумагу... читает им.... Хоть сейчас голову на плаху, а тут есть что-нибудь недоброе!.. Видите ли, как у этих французов рожи расцвели — так и ухмыляются!.. Эх, если б выведать как-нибудь!.. Постойте-ка, авось удастся!.

Купец подошел к молодому человеку в синем сюртуке и, поклонись ему вежливо, сказал вполголоса:

— Позвольте мне вас предостеречь, батюшка. Вы, кажется, русской? Молодой человек спрятал поспешно в карман бумагу, которую читал своим товарищам, и, взглянув недоверчиво на купца, отвечал отрывистым голосом:

— Да, сударь!.. Что вам угодно?

— А эти господа, кажется, французы?

— Ну да! Так что ж?

— Да так, батюшка; вы с ними говорите по-французски, стоите вместе...

— Так что ж? — повторил молодой человек. — Разве это уголовное преступление? Они мои приятели.

— И может быть, пречестные люди, да время-то не то, батюшка.

— Я во всякое время вправе говорить с моими приятелями и желал бы знать, кто может запретить мне?..

— Уж, конечно, не я. По мне тут нет ничего худого, а еще, может быть, это знакомство и очень вам пригодится. Да простой-то народ глуп, батюшка! пожалуй, сочтут вас шпионом. Поди толкуй им, что не их дело в это мешаться, что мы люди не военные, что в чужих землях войска дерутся, а обыватели сидят смирно по домам; и если неприятель войдет в город, так для сохранения своих имуществ принимают его с честью. Что в самом деле! не нами свет начался, не нами кончится. Когда везде уж так заведено, так нам-то к чему быть выскочками?

Молодой человек улыбнулся с удовольствием и, поглядев пристально на купца, сказал:

— Я вижу, что вы, несмотря на ваш костюм, человек просвещенный и не убежите из Москвы, когда Наполеон войдет в нее победителем.

— Нет, батюшка!.. У меня здесь два дома и три лавки, так слуга покорный. Если будут какие поборы, так что ж? лучше отдать половину, чем все потерять.

— Половину? Да кто вам сказал, что вы отдадите что-нибудь? С чего вы взяли, что французы грабители? Я вижу, вы человек умный; неужели вы в самом деле верите тому, в чем нас стараются уверить? Пора, кажется, нам перестать быть варварами и хотя несколько походить на других европейцев. Помилуйте! бежать вон из города!.. Да разве французы татары? Французы самая великодушная и благородная нация в Европе. Знаете ли, чего боится наше правительство? Не французов, а просвещения, которое они принесут вместе с собою. Поверьте мне, если б московские жители встретили Наполеона с должной почестью...

— Эх, батюшка! за этим бы дело не стало, да ведь бог весть! Ну как в самом деле он примется разорять нас? Кто знает, что у него на уме?

— Кто знает? Многие это знают. И если хотите, — прибавил молодой человек почти шепотом, — и вы будете это знать.

— Как не хотеть, батюшка. Как знаешь, чего ждать, так все-таки куражнее. А разве вам что-нибудь известно?

— Да!.. но говорите тише. У меня есть прокламация Наполеона к московским жителям.

— Прокламация?..

— То есть воззвание, манифест.

— В самом деле, — вскричал купец с живостию; но вдруг, понизив голос, продолжал: — Прокламация, сиречь манифест? Понимаю, батюшка! Эх, жаль!.. Чай, писано по-французски?

— У меня есть и перевод.

— Перевод? Покажите-ка, отец родной! Да кто это добрый человек потрудился перевести? Уж не вы ли, батюшка?

— Я или не я, какое вам до этого дело; только перевод недурен, за это я вам ручаюсь, — прибавил с гордой улыбкою красноречивый незнакомец, вынимая из кармана исписанную кругом бумагу. Купец протянул руку; но в ту самую минуту молодой человек поднял глаза и — взоры их встретились. Кипящий гневом и исполненный презрения взгляд купца, который не мог уже долее скрывать своего негодования, поразил изменника; он поспешил спрятать бумагу опять в карман и отступил шаг назад.

— Ни с места, предатель! — закричал купец, схватив его за ворот. — Подай бумагу! Молодой человек побледнел как смерть, рванулся из всей силы и, оставив в руке купца лоскут своего сюртука, ударился бежать.

— Держите! — закричал купец, — православные, держите! Это шпион, изменник!..

Но вдруг из толпы, которая стояла под горою, раздался громкий крик. «Солдаты, солдаты! Французские солдаты!..» — закричало несколько голосов. Весь народ взволновался; передние кинулись назад; задние побежали вперед, и в одну минуту улица, идущая в гору, покрылась народом. Молодой человек, пользуясь этим минутным смятением, бросился в толпу и исчез из глаз купца.

— Ушел, разбойник! — сказал он, скрипя от бешенства зубами. — Да несдобровать же тебе, Иуда-предатель! Господи боже мой, до чего мы дожили! Русской купец — и, может быть, сын благочестивых родителей!..

Меж тем небольшой отряд, наделавший так много тревоги, приблизился к мосту; впереди шло человек пятьсот безоружных французов, и не удивительно, что они перепугали народ. Издали их нельзя было принять за пленных, которых обыкновенно водят беспорядочной толпою. Напротив, эти французы шли по улице почти церемониальным маршем,

повзводно, тихим, ровным шагом и даже с наблюдением должной дистанции. Конвой, состоящий из полуроты пехотных солдат, шел позади, а сбоку ехал на казацкой лошади начальник их, толстый, лет сорока офицер, в форменном армейском сюртуке; рядом с ним ехали двое русских офицеров: один раненный в руку, в плаще и уланской шапке; другой в гусарском мундире, фуражке и с обвязанной щекою. Гусарской офицер первой заметил ошибку народа.

— Посмотрите, Зарядьев, — сказал он пехотному офицеру, — ведь нас приняли за французов; а все ты виноват: твои пленные маршируют, как на ученье.

— А по-твоему, лучше бы, — возразил пехотной офицер, — чтоб они шли как попало. Если б им от этого было легче, то так бы уж и быть; а то что толку? Как хочешь иди, а переход надобно сделать. Посмотришь у других — терпеть не могу — разбредутся по сторонам: одни убегут вперед, другие оттянут за версту; ну то ли дело, когда идут порядком? Самим веселее. Эй, Демин! — продолжал он, обращаясь к видному унтер-офицеру, — забеги вперед и приостанови первый взвод. Куда торопятся эти французы! Да посмотри, правой-то фланг совсем завалился. Уланской офицер улыбнулся.

— Ну что ты смеешься, Сборской? — сказал гусарской офицер. — Зарядьев прав: он любит дисциплину и порядок, зато, посмотри, какая у него рота; я видел ее в деле — молодцы! под ядрами в ногу идут.

— Что ты, Зарецкой! Я вовсе не думал смеяться; да признаюсь, мне и не до того: рука моя больно шалит. Послушай, братец! Наше торжественное шествие может продолжиться долго, а дом моей тетки на Мясницкой: поедem скорее.

— Поедем.

Оба кавалериста кивнули головами Зарядьеву и пустились рысью к Смоленскому рынку.

— Ты долго проживешь в Москве? — спросил Зарецкой своего товарища.

— Долго? Да разве это зависит от меня? Может быть, дня через три сюда пожалуют гости, с которыми я пировать вовсе не намерен.

— Так ты полагаешь, что их не встретят?..

— Пушечными выстрелами? Вряд ли. Да и депутации также не будет.

— Ну, бог знает. Я думаю, в Москве наберется еще десятка два-три французских учителей; Наполеон назовет их в своем бюллетене сенаторами, а добрые парижане всему поверят. Однако же, что ни говори, а свое поневоле любишь. Я терпеть не могу Москвы, а теперь мне ее жаль. В прошлую зиму я прожил в ней два месяца и чуть не умер с тоски: театр предурной, балы прескучные, а сплетней, сплетней!.. Ну, право, здесь в одни сутки услышишь больше комеражей (сплетен (от фр. *commerages*)), чем в круглый год в нашем

благочестивом Петербурге, который также не очень забавен — надобно отдать ему эту справедливость.

— А где же, по-твоему, весело?

— Где? да там, где некогда подумать о деле; например — в Париже.

— И, милый! Париж от нас так далеко.

— Не дальше и не ближе, как Москва от французов. Что если бы... на свете все круговая порука, и ежели французы побывают в Москве, так почему бы, кажется, и нам не загулять в Париж? К тому ж и вежливость требует...

— А что ты думаешь? В самом деле, не заготовить ли нам визитных карточек?

— Ах, черт возьми! То-то бы повеселились! А кажется, они в Москве не очень будут веселиться. Посмотри-ка: по всей Арбатской улице ни одной души. Ну, чего другого, а французам простор будет славный!

В самом деле, от Драгомиловского моста до самой Мясницкой они встретили не более трехкарет, запряженных по-дорожному, и только на Красной площади и около одного дома, на Лубянке, толпился народ.

— Что это? — сказал Сборской, подъезжая к длинному деревянному дому. — Ставни закрыты, ворота на запоре. Ну, видно, плохо дело, и тетушка отправилась в деревню. Тридцать лет она не выезжала из Москвы, лет десять сряду, аккуратно каждый день, делали ее партию два бригадира и один отставной камергер. Ах, бедная, бедная! С кем она будет теперь играть в вист?

— Ну, братец, куда же нам деваться? — спросил Зарецкой. — А вот посмотрим; верно, хоть дворник остался. Офицеры слезли с лошадей, начали стучаться, и через несколько минут вышел на улицу старик в изорванной фризовой шинели.

— Ах, батюшка! Это вы, Федор Васильич! — сказал он, увидя Сборского.

— Здравствуй, Федот! Ну что, тетушка в деревне?

— Да, сударь; изволила уехать. Думала, думала да вдруг поднялась; вчера поутру закрутила так, что и боже упаси!

Порядком заложить не успели. Ох, батюшка! Видно, злодеи-то наши недалеко?

— Нет, еще не близко. Ну что, есть ли у тебя что-нибудь съестное?

— Как же, сударь, весь годовой запас: мука, крупа, овес, сушеные куры, вяленая рыба, гусиные полотки, масло.

— Так мы и наши лошади с голоду не умрем? Слава богу!

— А есть ли у вас что-нибудь в подвале? — спросил Зарецкой.

— Как же, сударь! одних виноградных вин дюжины четыре будет.

— Славно! — закричал Сборской. — Смотри, Зарецкой, больше пить, чтоб французам ни капли не осталось. — Ну, Федот, отпирай ворота! Пойдем, братец! Делать нечего, займем парадные комнаты.

Пройдя через обширную лакейскую, в которой стены, налакированные спинами лакеев, ничем не были обиты, они вошли в столовую, оклеенную зелеными обоями; кругом в холстинных чехлах стояли набитые пухом стулья; а по стенам висели низанные из стекляруса картины, представляющие попугаев, павлинов и других пестрых птиц.

— Ну, братец! — сказал Зарецкой, — мы проживем здесь дни два, три, а потом...

— А потом, когда нагрянут незваные гости, я отправлюсь лечиться в Калугу. А ты?

— Если щеке моей будет легче, пристану опять к нашему войску; а если нет, то поеду отсюда к приятелю моему Рославлеву.

— К Рославлеву?

— Да, он лечит теперь и руку и сердце подле своей невесты, верст за пятьдесят отсюда. Однако ж знаешь-ли что? Если в гостиной диваны набиты так же, как здесь стулья, то на них славно можно выспаться. Мы почти всю ночь ехали, и не знаю, как ты, а я очень устал.

— Ну, хорошо, отдохнем! Да не послать ли дворника отыскать какого-нибудь лекаришку? Нам надобно перевязать наши раны.

— Да, не мешает. Ах, черт возьми! Я думал, что французской латник только оцарапал мне щеку; а он, видно, порядком съездил меня по роже

Офицеры послали дворника за лекарем, а сами пошли в гостиную и улеглись преспокойно на мягких шелковых диванах.

— Ах, тетушка, тетушка! С каким бы гневом возопила ты на это нарушение всех приличий! Как ужаснулась бы, увидев шинели, сабли, мундиры, разбросанные по креслам твоей парадной гостиной, и гусарские сапоги со шпорами на твоём наследственном обьяринном канapé.